

БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА



САД

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

С А Д



БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА



САД

НОВЫЕ СТИХИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

Изабелла Ахатовна Ахмадулина

САД

Художник Б. А. МЕССЕРЕР

Редактор В. С. Фогельсон
Худож. редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор Г. В. Климушкина
Корректор Т. Н. Гуляева

ИБ № 6042

Сдано в набор 07.04.87. Подписано к печати 29.06.87. А 06705. Формат 70×108¹/₃₂.
1-й з-д 70 000 экз. бумага кн.-журн. Гарнитура «Балтика». Высокая печать. Усл.
печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 4,95. Тираж 100 000 экз. Заказ № 257. Цена 55 коп.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва,
ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Ахмадулина И. А.

А 95 Сад: Новые стихи.— М.: Советский писа-
тель, 1987.— 160 с.

В книге Беллы Ахмадулиной «Сад» — стихи, написанные в последние
годы.

4702010200—232

А —————168—87

083(02)—87

ББК 84 Р7



* * *

Дорога на Паршино, дале — к Тарусе,
но я возвращаюсь вспять ветра и звезд.
Движенье мое прижилось в этом русле
длиною — туда и обратно — в шесть верст.

Шесть множим на столько, что ровно
получим. И этот туманный итог
вернем очертаньям, составившим местность
в канун ее паводков и поволок.

Мой ход непрерывен, я — словно течение,
чей долг — подневольню влачиться вперед.
Небес близлежащих ночное значенье
мою протяженность питает и пьет.

Я — свойство дороги, черта и подробность.
Зачем сочинитель ее жития
все гонит и гонит мой робкий прообраз
в сюжет, что прочней и пространней, чем я?

Близ Паршина и поворота к Тарусе
откуда мне знать, сколько минуло лет?
Текущее вверх, в изначальное устье,
все странствие длится, а странника — нет.

* * *

Андрею Битову

Отселева за тридевять земель
кто окольцует вольное скитанье
ночного сна? Наш деревенский хмель
всегда грустит о море-окияне.

Немудрено. Не так уж мы бедны:
когда весны события утрясутся,
вокруг Тарусы явственно видны
отметины Нептунова трезубца.

Наш опыт старше младости земной.
Из чуд морских содеяны каменья.
Глаз голубой над кружкой пивной
из дальних бездн глядит высокомерно.

Вселенная — не где-нибудь, вся — тут.
Что достается прочим зреньям, если
ночь напролет Юпитер и Сатурн
пекутся о занесшемся уезде?

Что им до нас? Они пришли не к нам.
Им недосуг разглядывать подробность.
Они всесущий видят океан
и волн всепоглощающих огромность.

Несметные проносятся валы.
Плавник одолевает время оно,

и голову подьѐмлет из воды
все то, что вскоре станет земноводно.

Лишь рассветет — приокской простоте
 Triton заблудший попадетсѧ в сети.
 След раковины в гробовой плите
 уводит мысль куда-то дальше смерти.

Хоть здесь растет — нездешнею тоской
 клонима многознающѧ ива.
 Но этих мест владычицы морской
 на этот раз не назову я имя.

* * *

Как много у маленькой музыки этой
завистников: все так и ждут, чтоб ушла.
Теснит ее сборища гомон несметный
и поедом ест приживалка нужда.

С ней в тяжбе о детях сокрытая мука —
виновной души неусыпная тень.
Ревнивая воля пугливого звука
дичится обобранных ею детей.

Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден
сообщников круг: только стол и огонь
настойный. При нем и собака тоскует,
мешает, затылок сует под ладонь.

Гнев маленькой музыки, загнанной в нети,
отлучки ее бытию не простит.
Опасен свободно гуляющий в небе,
упущенный и неприкаянный стих.

Но где все обидчики музыки этой,
поправшей величье житейских муз?
Наивный соперник ее безответный,
укройся в укрытье, в изгои изыдь.

Для музыки этой возможных нашествий
возлюбленный путник пускается в путь.
Спроважен и малый ребенок, нашедший
цветок, на который не смею взглянуть.

О путнике милом заплакать попробуй,
попробуй цветка у себя не отнять —
изведаешь маленькой музыки робкой
острастку, и некому будет пенять.

Чтоб музыке было являться удобней,
в чужом я себя заточила дому.
Я так одинока среди сырых угодий,
как будто не есмь, а мерещусь уму.

Черемухе быстротекущей внимая,
особенно знаю, как жизнь непрочна.
Но маленькой музыке этого мало:
всех прочь прогнала, а сама не пришла.

ГУСИНЫЙ ПАРКЕР

Когда под бездной многостройной
вспять поля белого иду,
восход моей звезды настольной
люблю я возыметь в виду.

И кажется: ночной равниной,
чья даль темна и грозен верх,
идет, чужим окном хранимый,
другой какой-то человек.

Вблизи завидев бесконечность,
не удержался б он в уме,
когда б не чьей-то жизни встречность,
одна в неисчислимой тьме.

Кто тот, чьим горестным уделом
терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?
Униженный, скитался где он?
Озябший, сыщет ли ночлег?

Пусть будет мной — и поскорее,
вот здесь, в мой лучший час земной,
В других местах, в другое время
он прогадал бы, ставши мной.

Оставив мне снегов раздолье,
вот он свернул в мое тепло.
Вот в руки взял мое родное
злато-гусиное перо.

Ему кофейник бодро служит.
С пирушки шлют гонца к нему.
Но глаз его раздумьем сужен,
и ум его брезглив к вину.

А я? В Ладыжинском овраге
коли не сгину — огонек
увиджу и вздохну: навряд ли
дверь продавщица отомкнет.

Эх, тьма, куда не пишут письма!
Что продавщица! — у ведра
воды не выпросишь напиток:
рука слаба, вода — тверда.

До света нового, до жизни
мне б на печи не дотянуть,
но ненавистью к продавщице
душа спасется как-нибудь.

Зачем? В помине нет аванса.
Где вы, моих рублей дружки?
А продавщица — самовластна,
как ни грози, как ни дрожи.

Ну, ничего, я отскитаюсь.
С полочки я развею грусть:
и с продавщицей расквитаюсь,
и с тем солдатом разберусь.

Ты спятил, Паркер, ты ошибся!
Какой солдат? — Да тот, узбек.
Волчицей стала продавщица
в семь без пяти. А он — успел.

Мой Паркер, что тебе в Ладыге?
Очнись, ты родом не отсель.
Зачем ты предпочел латыни
докуку наших новостей?

Светает во снегах отчизны.
А расторопный мой герой
еще гостит у продавщицы:
и смех, и грех, и пир горой.

Там пересуды у колодца.
Там масленицы чад и пыл.
Мой Паркер сбивчиво клянется,
что он там был, мед-пиво пил.

Мой несравненный, мой гусиный,
как я люблю, что ты смешлив,
единственный и неусыпный
сообщник тайных слез моих.

ШУМ ТИШИНЫ

Преодолима с Паршином разлука
мечтой ума и соучастьем ног.
Для ловли необщительного звука
искомого — я там держу силок.

Мне следовало в комнате остаться —
и в ней есть для добычи западня.
Но рознь была занятием пространства,
и мысль об этом увлекла меня.

Я шла туда, где разворот простора
наивелик. И вот он был каков:
замкнув меня, как сжатие острога,
сцепились интересы сквозняков.

Заокский воин поднял меч весенний.
Ответный норд призвал на помощь ост.
Вдобавок задувало из вселенной.
(Ужасней прочих этот ветер звезд.)

Не пропадать же в схватке исполинов!
Я — из людей, и отпустите прочь.
Но мелкий сброд незримых, неповинных
в делах ее — не занимает ночь.

С избытком мне хватало недознания.
Я просто шла, чтобы услышать звук,
я не бросалась в прорубь мироздания,
да зданье ли — весь этот бред вокруг?

Ни шевельнуться, ни дохнуть — нет мочи.
Кто рядом был? Чьи мне слова слышны?
— Шум тишины — вот содержание ночи...
Шум тишины...— и вновь: шум тишины...

И только-то? За этим ли трофеем
я шла в разлад и разноречивой весны,
в разъятый ад, проведанный Орфеем?
Как нежно он сказал: шум тишины...

Шум тишины стоял в открытом поле.
На воздух — воздух шел, и тьма на тьму.
Четыре сильных кругосветных воли
делили ночь по праву своему.

Я в дом вернулась. Ахнули соседи:
— Где были вы? Что там, где были вы?
— Шум тишины главенствует на свете.
Близ Паршина была. Там спать легли.

Бессмыслица, нескладица, мне — долго
любить тебя. Но веки тяжелы.
Шум тишины... сон подступает... только
шум тишины... шум только тишины...

ЛУНЕ ОТ РЕВНИВЦА

Явилась, да не вся. Где пол твоей красоты?
Но ломаной твоей полушки полулунной
ты мне не возвращай. Я — вор твоей казны,
сокрывшийся в лесах меж Тулой и Калугой.

Бессонницей моей тебя обобрала,
все золото твое в сусеках схоронившей,
и месяца ждала, чтоб клянчить серебра:
всегда он подавал моей ладони нищей.

Всё так. Но внове мне твой нынешний ущерб.
Как потрепал тебя соперник мой подлунный!
В апреля третий день за Паршино ушед,
чьей далее была вселенскою подругой?

У нас — село, у вас — селение свое.
Поселена везде, ты выбирать свободна.
Что вечности твоей ничтожность дня сего?
Наскучив быть всегда, пришла побыть сегодня?

Где шла твоя гульба в семнадцати ночах?
Не вздумай отвечать, что — в мирозданье где-то.
Я тоже в нем. Но в нем мой драгоценен час:
нет времени вникать в расплывчатость ответа.

Без помощи моей кто свел тебя на нет?
Не лги про тень земли, иль как там по науке.
Я не учена лгать и округлю твой свет,
чтоб стала ты полней, чем знает полнолуние.

Коль скоро у тебя другой какой-то есть
влюбленный ротозей и воздыхатель пылкий, —
все возверну тебе! Мне щедрости не счесть.
Разгула моего будь скаредной копилкой.

Коль жаждешь — пей до дна черничный сок зрачка
и приторность чернил, к тебе подобострастных.
Покуда я за край растраты не зашла,
востребуй бытия пленительный остаток.

Не поскупись — бери питанье от ума,
пославшего тебе свой животворный лучик.
Исчадие мое, тебя, моя луна,
какой наследный взор в дар от меня получит?

Кто в небо поглядит и примет за луну
измыслие мое, в нем не поняв нимало?
Осыплет простака мгновенное: «Люблю!» —
которое в тебя всей жизнью врифмовала.

Заранее смешно, что смертному зрачку
дано через века разиню огорошить.
Не для того ль тебя я рыщу и — рашу,
как непомерный плод тщеславный огородник?

Когда найду, что ты невиданно кругла, —
за Паршино сошлю, в небесный свод заочный,
и ввысь не посмотрю из моего угла.
Прощай, моя луна! Будь вечной и всеобщей.

И веки притворю, чтобы никто не знал
о силе глаз, луну, словно слезу, исторгших.
Мой бесконечный взгляд все будет течь назад,
на землю, где давно иссяк его источник.

ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учен вину. Пьют: мамка, мамкин дядя
и бабкин дядя — Жоржик-истопник.
— А это что? — спросил, на книгу глядя.
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
из недр ее, коль песню запоет.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
Кромешность прятков. Лампа ждет меня.
Но что мне делать? Слушай: «Буря мглою...»
Теперь садись. Пиши: эМ — А — эМ — А.

Зачем все это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эМ — А — эМ — А.

Так мы сидим вдвоем на белом свете.
Я — с черной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитать: эМ — А — эМ — А.

Так утекают дни, с небес роняя
разнообразие еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная,
пленяет и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.
И кличет Белкой, хоть ни разу он
не виделся с моею тезкой рыжей:
здесь род ее прилежно истреблен.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка
не раз оплакал лютую их смерть.
Вообще, наш люд настроен рукопашно,
хоть и живет смиренных далее средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав:
— Белка! —
я резво, как одноименный зверь,
своей проворной подлости робея,
со стула — прыг и спряталась за дверь.

Значенье прятков сразу же постигший,
я этот взгляд вспомню в крайний час.
В щель поместился старший и простивший,
скорбь всех детей вобравший, Пашкин глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный.
Вослед ему все воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
и с ними дактиль. Что там есть еще?

ЛЕБЕДИН МОЙ

Все в лес хожу. Заел меня репей.
Не разберусь с влюбленною колючкой:
она ли мой иль я ее трофей?
Так и живу в губернии Калужской.

Рыбак и я вдвоем в ночи сидим.
Меж нами — рожи соловьев всенощных.
И где-то: Лебедин мой, Лебедин —
заводит наш невидимый сообщник.

Костер внизу и свет в моем окне —
в союзе тайном, в сговоре иль в споре.
Что думает об этом вот огне
тот простодушный, что погаснет вскоре?

Живем себе, не ищем новостей.
Но иногда и в нашем курослепе
гостит язык пророчеств и страстей
и льется кровь, как в Датском королевстве.

В ту пятницу, какого-то числа —
еще моя черемуха не смерклаась —
соотносили ласточек крыла
глушь наших мест и странствий
кругосветность.

Но птичий вздор души не бередил
мечтаньем о теплынях тридесятых.

Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин,
прокорма убыль и снегов достаток.

Да, в пятницу, чей приоткрытый вход
в субботу — все ж обидная препона
перед субботой, весь честной народ
с полдня искал веселья и приволья.

Ладыжинский задиристый мужик,
истопником служивший по соседству,
еще не знал, как он непрочно жив
вблизи субботы, подступившей к сердцу.

Но как-то он скучал и тосковал.
Ему не полегчало от аванса.
Запасся камнем. Поманил: «Байкал!»
Но не таков Байкал, чтоб отозваться.

Уж он-то знает, как судьбы бежать.
Всяк брат его — здесь мертв или калека.
И цел лишь тот, рожденный обожать,
кто за версту обходит человека.

Развитие событий торопя,
во двор вошли знакомых два солдата,
желая наточить два топора
для плотницких намерений стройбата.

К точильщику помчались. Мотоцикл —
истопника, чей обречен затылок.
Дождь моросил. А вот и магазин.
Купили водки: дюжину бутылок.

— Куда вам столько, черти? — говорю. —
Показывала утром продавщица.

Ответили: — Чтоб матушку твою
нам помянуть, а после похмелиться.

Как воля весела и велика!
Хоть и не все меж ними ладно было.
Истопнику любезная Ока
для двух других — насильная чужбина.

Он вдвое старше и умнее их —
не потому, чтоб школа их учила
по-разному, а просто истопник
усмешливый и едкий был мужчина.

Они — моложе вдвое и пьяней.
Где видано, чтоб юность лебезила?
Нелепое для пришлых их ушей,
их раздражало имя Лебедина.

В удушливом насупленном уме
был заперт гнев и требовал исхода.
О том, что оставалось на холме,
два беглеца не думали нисколько.

Как страшно им уберегать в лесах
родимой жизни бедную непрочность.
Что было в ней, чтоб так ее спасать
в березовых, опасно-светлых рощах?

Когда субботу к нам послал восток,
с того холма, словно дымок ленивый,
воспыл души невзрачный завиток
и повисел недолго над Ладыгой.

За сорок верст сыскался мотоцикл.
Бег загнанный будет изловлен в среду.

29-й ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ

Тот лишний день, который нам дается,
как полагают люди, не к добру,—
но люди спят,— еще до дня, до солнца,
к добру иль нет, я этот день — беру.

Не сообщает сведений надземность,
но день — уж дан, и шесть часов ему.
Расклада високосного чрезмерность
я за продление бытия приму.

Иду в тайник и средоточье мрака,
где в крайний час, когда рассвет незрим,
я дале всех от завтрашнего марта
и от всего, что следует за ним.

Я мешкаю в Ладыжинском овраге
и в домысле: расход моих чернил,
к нему пристрастных, не строку бумаге,
а вклад в рельеф округе причинил.

К метафорам усмешлив мой избранник.
Играть со мною недосуг ему.
Округлый склон оврагом — рвано ранен.
Он придан месту, словно мысль уму.

Замечу: не из-за моих писаний
он знаменит. Всеопытный народ
насквозь торил путь простодушный самый
отсель в Ладыгу и наоборот.

Сердешный мой, неуголимый гений!
В своей тоске, но по твоим следам
влекусь тропею вековых хождений,
и нет другой, чтоб разминуться нам.

От вас, овраг осиливших с котомкой,
услышала, при быстрой влаге глаз:
— Мы все читали твой стишок.— Который? —
— Да твой стишок, там про овраг, про нас.

Чем и горжусь. Но не в самом овраге.
Паденья миг меня доставит вниз.
Эй, эй! Помене гордости и влаги.
Посуше будь, все то, что меж ресниц.

Люблю оврага образ и устройство.
Сорвемся с кручи, вольная строка!
Внизу — помедлим. Восходить — не просто.
Подумаем на темном дне стиха.

Нам повезло, что не был лоб расшиблен
о дерево. Он пригодится нам.
Зрачок — приметлив, хладен, не расширен.
Вверху — светает. Точка — тоже там.

Я шла в овраг. Давно ли это было?
До этих слов, до солнца и до дня.
Я выбираюсь. На краю обрыва
готовый день стоит и ждет меня.

Успею ль до полуночного часа
узнать: чем заплачу календарю
за лишний день? за непомерность счастья?
я все это беру? иль отдаю?

НОЧЬ НА 30 МАРТА

В. М. и Е. Ю. Россельс

В ночь на тридцатый марта день я шла
в пустых полях, при ветреной погоде.
Свой дальний звук к себе звала душа,
луну раздобывая в небосводе.

В ночь полнолуния не было луны.
Но где все мы и что случилось с нами
в ночи, не обитаемой людьми,
домишками, окошками, огнями?

Зиянья неба, сумрачно обняв
друг друга, ту являли безымянность,
которая при людях и огнях
условно мирозданием называлась.

Сквозило. Это ль спугивало звук?
Четыре воли в поле, как известно.
И жаворонки всплакивали вдруг
в прозрачном сне — так нежно,
так прелестно.

Пошла назад, в ту сторону, в какой
в кулисах тьмы событие созревало.
Я занавес, повисший над Окой,
в сокрытии луны подозревала.

И, маленький, меня окликнул звук —
живого неба воля и взаимность.

И прыгнула, как из веков разлук,
луна из туч и на меня воззрилась.

Внизу, вдали, под полною луной
алел огонь бесхитростного счастья:
приманка лампы, возóженной мной,
чтоб веселее было возвращаться.

ЦВЕТЕНИЙ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошел. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нем была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэт
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница эта
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на нее смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нем завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав ее «неясной»:
окрест, а не на нас глядит ее душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже прострел, забрав себе права
глагола своего, не промахнулся — вырос
для цели забытья, ведь это — сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески,
и ветреницы хлад, и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очередность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала ладыжинских черемух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья
не стала — все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля —
черемуха по всей округе расцвела.

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
и разум поврежден движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но — дрема, но — истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черемухи наитья?
Дыхание ее под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного события,
с чьим именем играть возбранено перу.

ПАЧЁВСКИЙ МОЙ

— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль
занятым скушным называть апрель?
Все сущее, свой вид и род возмужив,
с утра в трудах, как дружная артель.

Изменник-ум твердит: «Весной я болен»,—
а сам здоров, и все ему смешно,
когда иду подглядывать за полем:
что за ночь в нем произошло-взошло.

Во всякий день — новехонький, почетный
гость маленький выходит из земли.
И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,
лишь рассветет — появится из мглы.

— Он что же, граф? Должно быть, из поляков?
— Нет, здешний он и мной за то любим,
что до ничтожных титулов не лаком,
хотя уж он-то — не простолюдин.

— Из столбовых дворян? — Вот это ближе. —
Так весел мой и непомерен смех:
не нагляжусь сквозь брызнувшие блики
на белый мой, на семицветный свет.

— Он, видите ли... не могу! — Да полно
смеяться вам. Пачёвский — кто такой?
— Изгой и вместе вседержитель поля,
он вхож и в небо. Он — Пачёвский мой.

— Но кто же он? Ваши слова окольные.
Не так уж здрав ваш бедный ум весной.
— Да вы-то кто? Зачем так бестолковы?
А вот и сам он — столб Пачёвский мой.

Так много раз, что сбились мы со счета,
мой промельк в поле он имел в виду.
Коль повелит — я поверну в Пачёво.
Пропустит если — в Паршино иду.

Особенно зимою, при метели,
люблю его заполучить привет,
иль в час, когда две наших сирых тени
в союз печальный сводит лунный свет.

Чтоб вдруг не смыл меня прибой вселенной
(здесь крут обрыв, с которого легко
упасть в созвездья), мой Пачёвский верный
ниспослан мне, и время продлено.

Строки моей потатчик и попутчик,
к нему приникших пауз властелин,
он ждет меня, и бездна не получит
меня, покуда мы вдвоем стоим.

* * *

Люблю ночные промедленья
за озорство и благодать:
совсем не знать стихотворенья,
какое утром буду знать.

Где сирот обитают строки,
которым завтра улыбнусь,
когда на Паршинской дороге
себе прочту их наизусть?

Лишь рассветет — опять забрежу
в пустых полях зимы-весны.
К тому, как я бубню и брежу,
привыкли дважды три версты.

Внутри, на полпути мотива,
я встречу, как заведено,
мой столб, воспетый столь ретиво,
что и ему, и мне смешно.

В Пачёво ль милое задвинусь,
иль столб миную напрямик,
мне сладостно ловить взаимность
всего, что вижу в этот миг.

Коль похваляю себя — дорога
довольна тоже, ей видней,
в чем смысл, еще до слов, до срока:
ведь все это на ней, о ней.

Коль вдруг запинкою терзаюсь,
ее подарок мне готов:
все сбудется! Незримый заяц
все ж есть в конце своих следов.

Дорога пролегла в природе
мудрей, чем проложили вы:
все то, при чьем была восходе,
заходит вдоль ее канвы.

Небес запретною загадкой
сопровожаем этот путь.
И Сириус быстрозакатный
не может никуда свернуть.

Я в ней — строка, она — страница.
И мой, и надо мною ход —
все это к Паршину стремится,
потом за Паршино зайдет.

И даже если оплошаю,
она простит, в ней гнева нет.
В ночи хожу и вопрошаю,
а утром приношу ответ.

Рассудит алое-иссиня,
зачем я озирала тьму:
то ль плохо небо я спросила,
то ль мне ответ не по уму.

Быть может, выпадет мне милость:
равнины прояснится вид,
и все, чему в ночи молилась,
усталый лоб благословит.

ВЛИЯНИЯ ВЕСНЫ

Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
У слабоумья есть застенчивый секрет:
оно влюбилось в чушь раскрашенного блюда,
в юродивый узор, в уродицу сирень.

Куст-увалень, холма одышливый вельможа,
какой тебя вписал невежа садовод
в глухую ночь мою и в тот, из Велигожа
идуший, грубый свет над льдами окских вод?

Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени
со мною говорит. Бесхитростный фарфор
про детский цвет полей, про лакомство сурепки
навязывает мне насильно-кроткий вздор.

В закрытые глаза — уездного музея
вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,
и бабушки моей клубится бумазая,
иль как зовут крыла старинной нищеты?

О, если б лишь сирень! — я б вспомнила окраин
сады, где посреди изгоев и кутил
жил сбивчивый поэт, книгочей и архаик,
себя нарекший в честь прославленных куртин.

Где бедный мальчик спит над чудною могилой,
не помня: навсегда или на миг уснул,—
поэт Сиринев жил, цветущий и унылый,
не принятый в журнал для письменных услуг.

Он сразу мне сказал, что с этими и с теми
людьми он крайне сух, что дни его придут:
он станет знаменит, как крестное растенье.
И улыбалась я: да будет так, мой друг.

Он мне дарил сирень и множества сонетов,
белели здесь и там их пышные венки.
По вечерам — живей и проще жил Сиренев:
красавицы садов его к Оке влекли.

Но все ж он был гордец и в споре неуступчив.
Без славы — не желал он продолженья дней.
Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим
являлось сходство в ней все ярче и грустней.

Я съехала в снега, в те, что сейчас сгорели.
Где терпит мой поэт влияния весны?
Фарфоровый портрет веснушчатой сирени
хочу я откупить иль выкрасть у казны.

В моем окне висит планет тройное пламя.
На блюде роковом усталый чай остыл.
Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.
Но может, чем умней, тем бесполезней стих.

НОЧЬ НА 30 АПРЕЛЯ

Брат-комната, где я была — не спрашивай.
Ведь лунный свет — уже не этот свет.
Не в Паршино хожу дорогой Паршинской,
а в те места, каким названья нет.

Там у земли все небесами отнято.
Допущенного в их разъятый свод
охватывает дрожь чужого опыта:
он — робкий гость своих посмертных снов.

Вблизи звезда сияет неотступная,
и нет значений мельче, чем звезда.
Смущенный зритель своего отсутствия
боится быть не нынче, а всегда.

Не хочет плоть живучая, лукавая
про вечность знать и просится домой.
Беда моя, любовь моя, луна моя,
дай дотянуть до бренности дневной.

Мне хочется простейшего какого-то
нравоученья вещи и числа:
вот это, дескать, лампа, это — комната.
Тридцатый день апреля: два часа.

Но ничему не верит ум испуганный
и малых величин не узнает.
Луна моя, зачем втесняешь в угол мой
свои пожитки: ночь и небосвод?

ПРОГУЛКА

Как вольно я брожу, как одиноко.
Оступисься — затянет небосвод.
В рассеянных угодьях Ориона
не упасть от мысли обо всем.

— О чем, к примеру? — Кто так опрометчив,
чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь
нам приоткрыт лишь маленький примерчик
великой тайны: собственная смерть.

Привнесена подробность в бесконечность —
роднее стал ее сторонний смысл.
К вселенной недозволённая нежность
дрожащем спектров виснет меж ресниц.

Еще спросить возможно: Пушкин милый,
зачем непостижимость пустоты
ужасною воображать могилой?
Не лучше ль думать: это там, где Ты.

Но что это чернеет на дороге
злей, чем предмет, мертвей, чем существо?
Так оторопь коню вступает в ноги
и рвется прочь безумный глаз его.

— Позор! Иди! Ни в чем не виноватый
там столб стоит. Вы столько раз на дню
встречаетесь, что поля завсегда
давно тебя считает за родню.

Чем он измучен? Почему так страшен?
Что сторожит среди пустых равнин?
И голосом докучливым и старшим
какой со мной наставник говорит?

— О чем это? — Вот самозванца наглость:
моим надбровным взгорбьем излучен,
со мною же, бубня и запинаясь,
шептаться смел — и позабыл о чем!

И раздается добрый смех небесный:
вдоль пропасти, давно примечен ей,
кто там идет вблизи всемирных бедствий
окрайной своих последних дней?

Над ним - планет плохое предсказанье.
Весь скарб его — лишь нищета забот.
А он, цветными упоен слезами,
столба боится, Пушкина зовет.

Есть что-то в нем, что высшему расчету
не подлежит. Пусть продолжает путь.
И нежно-нежно дышит вечность в щеку,
и сладко мне к ее теплыни льнуть.

* * *

Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме:
то темный день густел в редеющих темнотах.
Проснулась я в слезах с Державиным в уме,
в запутанных его и заспанных тенётах.

То ль это мысль была невидимых светил
и я поймала сон, ниспосланный кому-то?
То ль Пушкин нас сводил, то ль сам он так шутил,
то ль вспомнила о нем недалняя Калуга?

Любовь к нему и грусть влекли меня с холма.
Спешили петухи общничать иль спорить.
Вставала в небесах Державину хвала,
и целый день о нем мне предстояло помнить.

ТАРУСА

Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-Калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии вмятые останки,
и как бы у ее изнанки
мы все нечаянно в гостях.

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдимость
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.

Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы — в этом времени, мы — дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.

СКОНЧАНИЕ ЧЕРЕМУХИ — 1

Тринадцатый с тобой я встретила восход.
В затылке тяжела твоих внушений залежь.
Но что тебе во мне, влиятельный цветок,
и не ошибся ль ты, что так меня терзаешь?

В твой задушевный яд — хлад зауми моей
влюбился и впился, и этому-то делу
покорно предаюсь подряд тринадцать дней
и мысль не укрою, что растеклась по дереву.

Пришелец дверь мою не смог бы отворить,
принявши надых твой за супротивный бицепс.
И незачем входить! Здесь — круча и обрыв.
Пришелец, отступись! Обрыв и сердце,
сблизьтесь!

Черемуха, твою тринадцатую ночь
навряд ли я снесу. Мой ум тобою занят.
Былой приспешник мой, он мог бы мне помочь,
но весь ушел к тебе и грамоте не знает.

Чем прихожусь тебе, растение-нелюдим?
Округой округясь, мои простерты руки.
Кто раболепным был урочищем твоим,
как я или овраг,— тот сведущ в этой муке.

Ты причиняешь боль, но не умеет боль
в овраге обитать, и вот она уходит.

Беспмятный объем, наполненный тобой,
я надобна тебе, как часть твоих угодий.

Благодарю тебя за странный мой удел —
быть контуром твоим, облекшим неизвестность,
подробность опустить, что — родом из людей,
и обитать в ночи, как местность и окрестность.

СКОНЧАНИЕ ЧЕРЕМУХИ — 2

Еще и сбещанья не давала,
что расцветет, была дотла черна,
еще стояла у ее оврага
разлившейся Оки величина.

А я уже о будущем скучала,
как о былом, и говорила так:
на этот раз черемухи скончанья
я не снесу, Ладыжинский овраг.

Я не снесу, я боле не умею
сносить разлуку и глядеть вослед,
ссылая в бесконечную аллею
всего, что есть, любимый силуэт

Она пришла — и сразу затворилось
объятье обоюдной западни.
Перемешалась выдохом взаимность,
их общий чад перенасытил дни.

Пятнадцать дней черемухову игу.
Мешает лбу расширенный зрачок.
И, если вдруг из комнаты я выйду,
потупится, кто этот взор прочтет.

Дремотою круженья и качанья
не усыпить докучливой строки:
я не снесу черемухи скончанья,—
и довода: тогда свое стерпи.

Я и терплю. Черемухи настоем
питаем пульс отверстого виска.
Она — мой бред. Но мы друг друга стоим:
и я — бредовый вымысел цветка.

Само решит творительное зелье,
какую волю навязать уму.
Но если он — безвольное изделие
насильных чар,— так больно почему?

Я не снесу черемухи скончанья,—
еще твержу, но и его снесла.
Сколь многих я пережила случайно.
Нет, знаю я: так говорить нельзя.

* * *

Зачем он ходит? Я люблю одна
быть у луны на службе обожанья.
Одною мной растрочена луна.
Три дня назад она была большая.

Ее размер не мною был взращен.
Мы свиделись — она была огромна.
Я неусыпным выпила зрачком
треть совершенно полного объема.

Я извела луну на пустыки.
Беспечен ум, когда безумны ноги.
Шесть километров вдоль одной строки:
бег-бред ночной по Паршинской дороге.

Вчера бочком вошла в мое окно.
Где часть ее — вдруг лучшая? Неужто
все это я? Не жег другой никто
ее всю ночь, не дожигал наутро.

Боюсь узнать в апреля первый день,
что станет с ее недавней статью.
Так изнуряет издали злодей
невинность черт к ним обращенной страстью.

Он только смотрит — в церкви, на балу.
Молитвенник иль веер упадает
из дрожи рук. Не дав им на полу
и миг побыть, ее жених страдает.

Он смотрит, смотрит — сквозь отверстие стен,
в кисейный мир, за возбраненный полог.
В лик непорочный многознанья тень
привнесена. Что с ней — она не помнит.

Он смотрит. Как осунулось лицо.
И как худа. В нем — холодок свободы.
Вот жениху возвращено кольцо.
Все кончено. Ее везут на воды.

Оплачу вкратце косвенный сюжет,
наскучив им. Он к делу непригоден.
Я жду луну и завожу брегет.
Зачем ко мне он все-таки приходит?

— Кто к вам приходит? И брегет при чем?
— А вы-то кто? Вас нет, и не пристало
вам задавать вопросы. Кто прочел
заране то, чего не написала?

Придуман мной лишь этот оппонент.
Нет у меня загадок без разгадок.
Живой и часто плачущий предмет —
брегет — мне добрый подарил Рязанов.

Приходит же... не бил ли он собак?
Он пустомелит, я храню молчанье.
Но пес во мне, хоть принужден солгать,
загривок дыбит и таит рычанье.

О нет, не преступаю я границ
приличья, но разросшийся вокруг сердца
ветвистый самовластный организм
не переносит этого соседства.

Идет! Часов непрочный голосок
берет он в руки. Бедный мой брегетик!
Я надвигаю тучу на восток,
чтоб он луны хотя бы не приметил.

И падает, и гибнет мой брегет!
Луны моей сообщник и помощник,
он распевал всегда под лунный свет,
он был — как я, такой же полуночник.

Виновник так подавлен и смущен,
что я ему прощаю незадачу.
Удостоверясь, что сосед ушел,
смеюсь над тем, как безутешно плачу.

В запасе есть не певчие часы.
Двенадцать ровно — и нисколько пеня.
И нет луны, хоть небеса ясны.
Как грубо шутит первый день апреля!

Пускаюсь в путь обычный. Ход планет
весь помещен над Паршинской дорогой.
В час пополуночи иду по ней,
строки вот этой спутник одинокий.

Вот здесь, при мне, живет мое «всегда».
В нем погостить при жизни — редкий случай.
Смотрю извне, как из небес звезда,
на сей свой миг, еще живой и сущий.

Так странен и торжествен этот путь,
как будто он принадлежит чему-то
запретному: дозволено взглянуть,
но велено не разгласить под утро.

Иду домой. Нимало нет луны.
А что ж герой бессвязного рассказа?
Здесь взгорбье есть. С него глаза длинны.
Гость с комнатой моею не расстался.

Вон мой огонь. Под ним — мои стихи.
Вон силуэт читателя ночного.
Он, значит, до какой дошел строки?
Двенадцать было. Стало полвторого.

Ау! Но вы обидеться могли
на мой ответ придвинутым планетам.
Вас занимают выдумки мои?
Но как смешно, что дело только в этом.

Простите мне! Стихи всегда приврут.
До тайн каких вы ищете дознаться?
Расстанемся, мой простодушный друг,
в стихах — навек, а наяву — до завтра.

Семь грустных дней безлунью моему.
Брежет молчит. В природе — дождь и холод.
И так темно, так боязно уму.
А где сосед? Зачем он не приходит?

ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на Паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и сле ишь за мной?

Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.



ПОСВЯЩЕНИЕ

Все этот голос, этот голос странный.
Сама не знаю: праведен ли трюк —
так управлять трудолюбивой раной
(она не любит втайне этот труд),
и видеть бледность девочки румяной,
и брать из рук цветы и трепет рук,
и разбирать их в старомодной ванной, —
на этот раз ты сетовал, мой друг,
что, завладев всей данной нам водою,
плыла сирень купальщицей младою.

Взойти на сцену — выйти из тетради.
Но я сирень без памяти люблю,
тем более — в Санкт-белонощном граде
и Невского проспекта на углу
с той улицей, чье утаю название:
в которой я гостинице жила —
зачем вам знать? Я говорю не с вами,
а с тем, кого я на углу ждала.

Ждать на углу? Возможно ли? О, доле ждала бы я, но он приходит в срок — иначе б линий, важных для ладони, истерся смысл и срок давно истек.

Не любит он туманных посвящений,
и я уступку сделаю молве,
чтоб следопыту не ходить с ищейкой
вдоль этих строк, что приведут к Неве.

Речь — о любви. Какое же герою
мне имя дать? Вот наименьший риск:
чем нарекать, я попросту не скрою
(не от него ж скрывать), что он — Борис.

О поводырь моей повадки робкой!
Как больно, что раздвоены мосты.
В ночи — пусть самой белой и короткой —
вот я, и вот Нева, а где же ты?

Глаз, захворав, дичится и боится
заплакать. Мост — раз-ъ-единен. Прощай.
На острове Васильевском больница
сто лет стоит. Ее сосед — причал.

Скажу заране: в байковом наряде
я приживусь к больничному двору
и никуда не выйду из тетради,
которую тебе, мой друг, дарю.

Взойти на сцену? Что это за вздор?
В окно смотрю я на больничный двор.

СТЕНА

Вид из окна: кирпичная стена.
Строки или палаты посетитель
стены моей пугается сперва.
Стена и взор, проснитесь и сойдитесь! —
я говорю, хоть мало я спала,
под утро неусыпностью пресытись.

Двух разных зорь неуголима страсть,
и ночь ее обходит стороною.
Пусть вам смешно, но такова же связь
меж мною и кирпичною стеною.
Больничною диковинкою став,
я не остерегаюсь быть смешною.

Стена моя, все трудишься, корпишь
для цели хоть полезной, но неновой.
Скажи, какую ныне окропишь
мою бумагу мыслью пустяковой?
Как я люблю твой молодой кирпич
за тайный смысл его средневековый.

Стене присущ былых времен акцент.
Пред-родствен ей высокородный замок.
Вот я сижу: вельможа и аскет,
стены моей заносчивый хозяин.
Хочу об этом поболтать — но с кем?
Входил доцент, но он суров и занят.

Еще и тем любезна мне стена,
что четко окорачивает зренья.
Иначе мысль пространна, не стройна,
как пуха тополиного паренье.
А так — в ее вперяюсь письма
и списываю с них стихотворенье.

Но если встать с кровати, сесть левой,
сидеть всю ночь и усидеть подоле,
я вижу, как усердые тополей
мне шлет моих же помыслов подобье,
и слышу близкий голос кораблей,
проведавший больничное подворье.

Стена — ревнива: ни щедрот, ни льгот.
Мгновенье — и ощерятся бойницы.
Она мне не показывает львов,
сто лет лежащих около больницы.
Чтоб мне не видеть их курчавых лбов,
встает меж нами с выраженьем львицы.

Тут наш разлад. Я этих львов люблю.
Всех, кто не лев, пускай берут завидки.
Иду ко львам, верней — ко льву и льву,
и глажу их чугунные загривки.
Потом стене подобострастно лгу,
что к ним ходила только из-за рифмы.

В том главное значение стены,
что скрыт за нею город сумасходный.
Он близко — только руку протяни.
Но есть препона совладать с охотой
иметь. Не возымея, а сотвори
все надобное, властелин свободный.

Все то, что взять могу и не беру:
дворцы разъединивший мост Дворцовый
(и Меншиков опять не ко двору),
и Летний сад, и, с нежностью особой,
всех львов моих — я отдаю Петру.
Пусть наведет порядок образцовый.

Потусторонний (не совсем иной —
застенный) мир меня ввергает в ужас.
Сегодня я прощаюсь со стеной,
перехожу из вымысла в насущность.
Стена твердит, что это бред ночной,—
не ей бы говорить, не мне бы слушать.

Здесь измышленья, книги и цветы
со мной следили дня и ночи смену
(с трудом — за неимением темноты).
Стена, прощай. Поднять глаза не смею.
Преемник мой, как равнодушно ты,
как слепо будешь видеть эту стену.

НОЧЬ НА 6 ИЮНЯ

Перечит дреме въедливая дрель:
то ль блещет шпиль, то ль бредит голос птицы.
Ах, это ты, всеночный белый день,
оспоривший снотворный шприц больницы.

Простертая для здоровой простоты
пологость, упокоенная на ночь,
разорвана, как невские мосты,—
как я люблю их с фонарями навзничь.

Меж вздыбленных разъятых половиц
сознания — что уплывет в далекость?
Какой смотритель утром повелит
с виском сложить висок и с локтем локоть?

Вдруг позабудут заново свести
в простую схему рознь примет никчемных,
что под щекой и локоном сестры
уснувшей — знает назубок учебник?

Раздвоен мозг: былой и новый свет,
совпав, его расторгли полушарья.
Чтоб возлежать, у лежебоки нет
ни знания, как спать, ни прилежанья.

И вдруг смеюсь: как повод прост, как мал —
не спать, пенять струне неумолимой:
зачем поет?! А это пел комар
иль незнакомец в маске комариной.

Я вспомню, вспомню... вот сейчас, сейчас...
Как это было? Судно вдаль ведомо
попутным ветром... в точку уменьшась,
забившись в щель, достичь родного дома...
Несчастливая! Каких лекарств, мещанств
наелась я, чтоб не узнать Гвидона?

Мой князь, то белена и курослеп,
подслеповатость и безумье бденья.
Пожалуй в рознь соседних королевств!
Там — общий пир, там чей-то день рожденья.

Скажи: что конь? что тот, кто на коне?
На месте ли, пока держу их в книге?
Я сплю. Но гений розы на окне
грустит о том, чей день рожденья ныне.

У всех — июнь. У розы — май и жар.
И посылает мстительность метафор
в окно мое неутолимость жал:
пусть вволю пьют из кровеносных амфор.

* * *

Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть. Это только снаружи больница скушна, непреклонна. А внутри — очень много событий, занятий и чувств. И больные гуляют, держась за перила балкона.

Одиночество боли и общее шарканье ног вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту. Лишь покойник внизу оставался совсем одинок: санитар побежал за напарником, бросив каталку

Столь один — он, пожалуй, еще никогда не бывал. Сочиняй, починай — все сбиваемся в робкую стаю. Даже холодный подвал, где он в этой ночи ночевал, кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.

Но зато, может быть, никогда он так не был
любим.
Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже. Соучастье любви на мгновение сгустилось над ним. Это ластились к тайне живых боязливые души.

Все свидетели скрытным себя осенили крестом. За оградой — не знаю, а здесь нездоровый упадок атеизма заметен. Всем хочется над потолком вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.

Две неравных вершины вздымали покров простыни.
Вдосталь, мил-человек, ты небось походил
по Расее.

Натрудила она две воздетые к небу ступни.
Что же делать, прощай. Не твое это, брат,
воскресенье.

Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь
вела:
«Дево, радуйся!» Я — не умею припомнить акафист.
Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною
покамест.

и далее — свет. Но мутилась моя голова
от вида цветка и от мощи его аромата.

Чужое мгновение себе я взяла и снесла.

Кто жив — тот неопытен. Темен мой взор

виноватый.

Увидевший то, что до времени видеть нельзя,

страшись и молчи, о, хотя бы молчи, соглядатай.

ЕЛКА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ

В коридоре больничном поставили елку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушение порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но все же — канун
Рождества.
Завтра кто-то дождется известий, гостинцев,
свиданий.
Жизнь со смертью — в соседях. Каталка всегда
не пуста —
лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь
принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны, так несть им
числа,
что прощен и утешен безвестный затворник
подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где елка — причина
для слез
(не хотели ее, да сестра заносить повелела),

сердце бьется и слушает, и — раздалось,
— Эй, очнитесь! Взгляните — восходит Звезда
донеслось:
Вифлеема.

Достоверно одно: вздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов, и неопытной матери локоть,
упасавший младенца с отметиной чудной во лбу.
Остальное — лишь вздор, затянувшейся лжи
мимолетность.

Этой плоти больной, изврежденной трудом
и войной,
что нужней и отрадней столь просто описанной
сцены?
Но — корят то вином, то другою какою виной
и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел, как бессмысленный черный
фонарик, —
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на елке названивал крошка звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел,
неказист.
Цвет — был меньше чем розовый: родом из робких,
нерезких.
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный
крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза
открывать, —
вдоль метели пронесся трамвай, изнутри
золотистый.

* * *

Какому ни предамся краю
для ловли дум, для траты дней,—
всегда в одну игру играю,
и много мне веселья в ней.

Я знаю: скрыта шаловливость
в природе и в уме вещей.
Лишь недогадливый ленивец
не зван соотноситься с ней.

Люблю я всякого предмета
притворно-благодравный вид.
Как он ведет себя примерно,
как упоительно хитрит!

Так быстрый взор смолянки нежной
из-под опущенных ресниц
сверкнет — и старец многогрешный
грудь в орденах перекрестит.

Как все ребячливо на свете!
Все вещества и существа,
как в угол вдвинутые дети,
понуру страждут озорства.

Заметят, что на них воззрилась
любовь,— восторгов и щедрот
не счесть! И бытия взаимность —
сродни щенку иль сам щенок.

Совсем я сбилась с панталыку!
Рука моя иль чья-нибудь
пускай потреплет по затылку
меня, чтоб мысль ему вернуть.

Не образумив мой загривок,
вид из окна — вошел в окно,
и тварей утвари игривой
его вторжение развлекло.

Того оспорю неужели,
чье имя губы утаят?
От мысли станет стих тяжеле,
пусть остается глуповат.

Пусть будет вовсе глуп и волен.
Ко мне утратив интерес,
рассудок белой ночью болен.
Что делать? Обойдемся без.

Начнем: мне том в больницу прислан.
Поскольку принято капризам
возлегших на ее кровать
подобострастно потакать,
по усмотренью доброты
ему сопутствуют цветы.

Один в палате обыватель:
сам сочинит и сам прочтет.
От сочинителя читатель
спешит узнать: разгадка в чем?

Скажу ему, во что играю.
Я том заветный открываю,
смеюсь и подношу цветок
стихотворению «Цветок».

О, сколько раз все это было:
и там, где в милый мне овраг
я за черемухой ходила
или ходила просто так,

и в робкой роще подмосковной,
и на холмах вблизи Оки —
наильный, мною не искомый,
накрапывал пунктир строки.

То мой, то данный мне читальней,
то снятый с полки у друзей,
брала я том для страсти тайной,
для прочной прихоти моей.

Подснежники и медуницы
и все, что им вослед растет,
привыкли соединять страницы
с произрастаньем милых строк.

В материальности материй
не сведущий — один цветок
мертворожденность иммортелей
непринужденно превозмог.

Мы знаем, что в лесу иль в поле,
когда — не знаем, он возрос.
Но сколько выросших в неволе
ему я посвятила роз.

Я разоряла их багряность,
жалеючи, рукой своей.
Когда мороз — какая радость
сказать: «Возьми ее скорей».

Так в этом мире беззащитном,
на трагедийных берегах,
моим обмолвкам и ошибкам
я предаюсь с цветком в руках.

И рада я, что в стольких книгах
останутся мои цветы,
что я повинна только в играх,
что не черны мои черты,

что розу не отдавший вазе
еще не сущий аноним
продлит неутолимость связи
того цветка с цветком иным.

За это — столько упоений,
и две зари в одном окне,
и весел тот, чей бодрый гений
всегда был милостив ко мне.

* * *

Александрю Блоку

Бессмертьем душу обольщая,
все остальное отстранив,
какая белая, большая
в окне больничном ночь стоит.

Все в сборе: муть окраин, гавань,
вдохнувшая морская близь,
и грезит о герое главном
собрание действующих лиц.

Поймем ли то, что разыграют,
покуда будет ночь свежить?
Из умолчаний и загадок
составлен роковой сюжет.

Тревожить имени не стану,
чей первый и последний слог
непроницаемую тайну
безукоризненно облек.

Все сказано — и все сокрыто.
Совсем прозрачно — и темно.
Чем больше имя знаменито,
тем неразгаданней оно.

А это, от чьего наитья
туманно в сердце молодом,—

тайник, запретный для открытия,
замкнувший створки медальон.

Когда смотрел в окно вагона
на вспышки засух торфяных,
он знал, как грозно и огромно
предвестье бед, и жаждал их.

Зачем? Непостижимость таинств,
которые он взял с собой,
пусть называет чужестранец
Россией, фатумом, судьбой.

Что видел он за мглой, за гарью?
Каким был светом упоен?
Быть может, бытия за гранью
мы в этом что-нибудь пойдем.

Все прозорливее, чем гений.
Не сведущ в здравомыслѣ зла,
провидит он лишь высь трагедий.
Мы видим, как их суть низка.

Чего он ожидал от века,
где всё — надрыв и всё — навзрыд?
Не снесший пошлости ответа,
так бледен, что уже незрим.

Искавший мук, одну лишь муку:
не петь — поющих не учел.
Вослед замученному звуку
он целомудренно ушел.

Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,

пал кротко в лютые объятия,
свой крайний миг благословив.

Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Все приживается на свете—
и лишь поэт уходит в срок.

Одно такое у природы
лицо. И остается нам
смотреть, как белой ночи розы
всё падают к его ногам.

* * *

Когда жалела я Бориса,
а он меня в больницу вез,
стихотворение «Больница»
в глазах стояло вместо слез.

И думалось: уж коль поэта
мы сами отпустили в смерть
и как-то вытерпели это,—
все остальное можно снести.

И от минуты многотрудной
как бы рассудок ни устал,—
ему одной достанет чудной
строки про перстень и футляр.

Так ею любовалась память,
как будто это мой алмаз,
готовый в черный бархат прянуть,
с меня востребуют сейчас.

Не тут-то было! Лишь от улиц
меня отъединил забор,
жизнь удивленная очнулась,
воззрелась на больничный двор.

Двор ей понравился. Не меньше
ей нравились кровать, и суп,
столь вкусный, и больных насмешки
над тем, как бледен он и скуп.

Опробовав свою сохранность,
жизнь стала складывать слова
о том, что во дворе — о радость! —
два возлежат чугунных льва.

Львы одичавшие — привыкли,
что кто-то к ним щекою льнет.
Податливые их загровки
клялись в ответном чувстве львов.

За все черты, чуть-чуть иные,
чем принято, за не вполне
разумный вид — врачи, больные —
все были ласковы ко мне.

Профессор, коей все боялись,
войдет со свитой, скажет: «Ну-с,
как ваши львы?» — и все смеялись,
что я боюсь и не смеюсь.

Все люди мне казались правы,
я вникла в судьбы, в имена,
и стук ужасной их забавы
в саду — не раздражал меня.

Я видела упадок плоти
и грубо поврежденный дух,
но помышляла о субботе,
когда родные к ним придут.

Пакеты с вредоносно-сильной
едой, объятая на скамье —
весь этот праздник некрасивый
был близок и понятен мне.

Как будто ничего вселенной
не обещала, не должна —
в алмазик бытия бесценный
вцепилась жадная душа.

Все ярче над небесным краем
двух зорь единый пламень рос.
— Неужто все еще играет
со львами? — слышался вопрос.

Как напоследок жизнь играла,
смотрел суровый окуляр.
Но это не опровергало
строки про перстень и футляр.

* * *

Борису Мессереру

Дарю тебе сию тетрадь.
Но на бумаге благородной,
о боже, вдруг — не плодородной,
что я сумею написать?

Стихи, что брезжат вдалеке, —
неразличимы и любимы.
Как говорят у нас в Ладыге,
дарю тебе kota в мешке.

Прости! Ты к просторечью строг.
В местах печальных и прелестных,
в Тарусе и ее предместьях,
вовсю мать-мачеха растет.

На образ прянувшей травы
простерли тщанье и уменье
все те, кто если не умнее,
то и не злее детворы.

Соотношу мою луну
с лунной, известной на Арбате, —
и получается объятье
с тобою. Я тебя люблю.



ШЕСТОЙ ДЕНЬ ИЮНЯ

Словно лев, охраняющий важность ворот
от пролаза воров, от досужего сглаза,
стерегу моих белых ночей приворот:
хоть ненадобна лампа, а все же не гасла.

Глаз недремано-львиный и нынче глядел,
как темнеть не умело, зато рассветало.
Вдруг я вспомнила — чей занимается день,
и не знала: как быть, так мне весело стало.

Растревожила печку для пущей красы,
посылая заре измышление дыма.
У-у, как стал расточитель червонной казны
хохотать, и стращать, и гудеть нелюдимо.

Спал ребенок, сокрыто и стройно летя.
И опять обожгла безоплошность решенья:
Он сегодня рожден и покуда дитя,
как все это недавно и как совершенно.

Хватит львом чугунеть! Не пора ль пировать,
кофеином ошпарив зевок недосыпа?
Есть гора у меня и крыльца перевал
меж теплом и горою, его я достигла.

О, как люто, как северно блещет вода.
Упасенье черемух и крах комариный.
Мало севера мху — он воззрился туда,
где магнитный кумир обитает незримый.

Есть гора у меня — из гранита и мха,
из лишайных диковин и диких расщелин.
В изначалье ее укрывается мгла
и стенает какой-то пернатый отшельник.

Восхожу по крутым и отвесным камням
и стыжусь, что моя простодушна утеха:
всё мемории милые прячу в карман —
то перо, то клочок золотистого меха.

Наверху возлежит триумфальный валун.
Без оглядки взошла, но меня волновало,
что на трудность подъема уходит весь ум,
оглянулась: сиял Белый скит Валаама.

В нижнем мраке еще не умолк соловей.
На возглыбии выпуклом — пекло и стужа.
Чей прозрачный и полый вон тот силуэт —
неподвижный зигзаг ускользанья отсюда?

Этот контур пустой — облаченье змеи,
это — выползень. (Как Он расспрашивал Даля
о словечке!) Добычливы руки мои,
прытки ноги, с горы напрямик упадая.

Мне казалось, что смотрит нагая змея,
как себе я беру ее кружев обноски,
и смеется. Ребенок жаждется меня,
но подарком змеи как упьется он после!

Но препона была продвижению вниз:
на скале, под которою зелен мой домик,—
дрожь остуды, сверканье хрустальных ресниц,
это — ландыши, мытарство губ и ладоней.

Дале — книгу открыть и отдать ей цветок,
в ней и в небе о том перечитывать повесть,
что румяной зарею покрылся восток,
и обдумывать эту чудесную новость.

ПОСТОЙ

Не полюбить бы этот дом чужой,
где звук чужой пеняет без утайки
пришельцу, что еще он не ушел:
де, странник должен странствовать,
не так ли?

Иль полюбить чужие дом и звук:
уменьшиться, привадиться, втесаться,
стать приживалой сущего вокруг,
свое — прогнать и при чужом остаться?

Вокруг — весны разор и красота,
сырой песок, ведущий в Териоки.
Жилец корпит и пишет: та-та-та,—
диктант насильный заточая в строки.

Всю ночь он слышит сильный звук чужой:
то измышленья прежних постояльцев,
пока в окне неистощим ожог,
спуют, отбившись от умов и пальцев.

Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив
забыт иль за ненадобностью брошен?
Непосвященный слушатель молчит.
Он дик, смешон, давно ль он ел —
не спрошен.

Длиннее звук, чем маленькая тьма.
Затворник болен, но ему не внове

входить в чужие звуки и дома
для исполненья их капризной воли.

Он раболепен и душой кривит.
Составленный вчерне из многоточья,
к утру готов бесформенный клавир
и в стройные преобразован ключья.

Покинет гость чужие дом и звук,
чтоб никогда сюда не возвращаться
и тосковать о распре музык двух.
Где — он не скажет. Где-то возле счастья.

* * *

Темнеет в полночь и светает вскоре.
Есть напряжение в столь условной тьме.
Пред-свет и свет, словно залив и море,
слились и перепутались в уме.

Как разгляжу незримость их соитья?
Грань меж воды я видеть не могу.
Канун всегда таинственней события —
так мнится мне на этом берегу.

Так зорко, что уже подслеповато,
так чутко, что в заумии звенит,
я стерегу окно, и непонятно:
чем сам себя мог осветить залив?

Что предпочесть: бессонницу ли? сны ли?
Во сне видней что видеть не дано.
Вслепую — книжки Блока записные
я открываю. Пятый час. Темно.

Но не совсем. Иначе как я эти
слова прочла и поняла мотив:
«Какая безысходность на рассвете».
И отворилось зренье глаз моих.

Я вышла. Бодрый север по загривку
трепал меня, отверстый нюх солил.
Рассвету вспять я двинулась к заливу
и далее, по валунам, в залив.

Он морем был. Я там остановилась,
где обрывался мощный край гряды.
Не знала я: принять за гнев иль милость
валы непроницаемой воды.

Да, уж про них не скажешь, что лизнули
резиновое облаченье ног.
И никакой поблажки и лазури:
горбы судьбы с поклажей вечных нош.

Был камень сведущ в мысли моря тайной.
Но он привык. А мне, за все века,
повиснуть в них подробностью случайной
впервой пришлось. Простите новичка.

«Какая безысходность на рассвете».
Но рассвело. Свет боле не иском.
Неужто прыткий получатель вести
ее обманет и найдет исход?

Вдруг возгорелась вкрапина гранита:
смотрел на солнце великанский лоб.
Моей руке шершаво и ранимо
отозвалась незыблемая плоть.

«Какая безысходность на рассвете».
Как весел мне мой ход поверх камней.
За главный смысл лишь музыка в ответе.
А здравый смысл всегда перечит ей.

* * *

Всех обожаний бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья,—
потупившись, не смея быть при Вас,—
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.

При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония — избранников занятье.
Туманна окончательность конца.

* * *

Мне дан июнь холодный и пространный
и два окна: на запад и восток,
чтобы в эпитет ночи постоянный
вникал один, потом другой висок.

Лишь в полночь меркнет полдень
бесконечный,
оставив блик для рыбы и блесны.
Преобладанье призелени нежной
главенствует в составе белизны.

Уже второго часа половина,
и белой ночи сложное пятно
в ее края невхожего павлина
в залив роняет зрячее перо.

На любованье маленьким оттенком
уходит час. Светло, но не рассвет.
Сверяю свет и слово — так аптекарь
то на весы глядит, то на рецепт.

Кирьява-Лахти — имя вод окольных,
пред-ладожских. Вид из окна — ушел
в расплывчатость. На белый подоконник
будильник белый грубо водружен.

И не бела цветная ночь за ними.
Фиалки проступают на скале.

Мерцает накипь серебра в заливе.
Синеет плащ, забытый на скамье.

Четвертый час. Усилен блеск фиорда.
Метнулась птицы взбалмошная тень.
Распахнуты прозрачные ворота.
Весь розовый, в них входит новый день.

Еще ночные бабочки роятся.
В одном окне — фиалки и скала.
В другом — огонь, и прибылью румянца
позлащена одна моя скула.

* * *

Завидев дом, в испуге безъязыком,
я полюбила дома синий цвет.
Но как залива нынче цвет изыскан:
сам как бы есть, а цвета вовсе нет.

Вода вольна быть призрачна, но слово
о ней такое ж — не со-цветно ей.
Об имени для цвета никакого
ты, синий дом, не думай, а синей!

А занавески желтые на окнах!
Утешно сине-желтое пятно.
И дома-балаганчика невольник
не веселей, должно быть, чем Пьеро.

Я слышала, и обвели чернила,
след музыки, что прежде здесь жила.
Так яблоко, хоть полно, но червиво.
Так этих стен ущербна тишина.

То ль слуху примерещилась больному
двоюродная мука грез и слез,
то ль не спалось подкидышу-бемолю.
Потом прошло, затихло, улеглось.

Увы тебе, грядущий мой преемник,
таинственный слагатель партитур.
Не преуспеть тебе в твоих паренях:
в них чуждые созвучья прорастут.

Прости меня за то, что озарили
тебя затменья моего ума.
Всегда ты будешь думать о заливе.
Тебя возьмется припекать луна.

Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,
но он твою не оскорбил струну.
Прошу тебя: люби мой домик синий
и занавесок яд и желтизну.

Они причастны тайне безобидной.
Я не смогу покинуть их вполне,
как близко сущий, но сейчас не видный
залив в моем распахнутом окне.

И что залив, загадка, поволока?
Спросила — и ответа заждалась.
Пожалуй, имя молодого Блока
подходит цвету, скрытому от глаз.

ДОМ С БАШНЕЙ

Луны еще не вдосталь, а заря ведь
уже сошла — откуда взялся свет?
Сеть гамака ужасная зияет.
Ах, это май: о тьме и речи нет.

Дом выпранный на берегу залива.
В саду — гамак. Все упустила сеть,
но не пуста: игриво и лениво
в ней дней былых полеживает смерть.

Бывало, в ней покачивалась дрема
и упал том Стриндберга из рук.
Но я о доме. Описание дома
нельзя построить наобум и вдруг.

Проект: осанку вычурного замка
венчают башни шпиль и витражи.
Красавица была его хозяйка.
— Мой ангел, пожелай и прикажи.

Поверх кустов сирени и малины —
балкон с пространным видом на залив.
Всё гости, фейерверки, именины.
В тот майский день молился ль кто за них?

Сооруженье: вместе дом и остров
для мыслящих гребцов средь моря зла.
Здесь именитый возвещал философ
(он и поэт): — Так больше жить нельзя!

Какие ночи были здесь! Однако
хозяев нет. Быть дома ночью — вздор.
Пора бы знать: «Бродячая собака»
лишь поздним утром их отпустит в дом.

Замечу: знаменитого подвала
таинственная гостя лишь одна
наверяд ли здесь хотя бы раз бывала,
иль раз была — но боле никогда.

Покой и прелесть утреннего часа.
Красотка финка самовар внесла.
И гимназист, отрекшийся от чая,
всех пристыдил: — Так больше жить нельзя!

В устройстве дома — вольного абсурда
черты отрадны. Запределен бред
предположенья: вдруг уйти отсюда.
Зачем? А дом? А башня? А крокет?

Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
Коса, румянец, хрупкость, кисея —
и голосок, отвлекшийся от пенья,
расплакался: — Так больше жить нельзя!

Влюблялись, всё смеялись, и стрелялись
нередко, страстно ждали новостей.
Дом с башней ныне — робкий постоялец,
чуждак изгой на родине своей.

Нет никого. Ужель и тот покойник —
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
к сосне прибивший ржавый ручнойник,
заткнувший щели в окнах и дверях?

Хоть не темнеет, а светает рано.
Лет дому сколько? Меньше чем сто.
Какая жизнь в нем сильная играла!
Где это все? Да было ль это все?

Я полюбила дом, и водостока
резной узор, и, более всего,
со шпилем башню и цветные стекла.
Каков мой цвет .сквозь каждое стекло?

Мне кажется, и дом меня приметил.
Войду в залив, на камне постою.
Дом снова жив, одушевлен и светел.
Я вижу дом, гостей, детей, семью.

Из кухни в погреб золотистой финки
так весел промельк! Как она мила!
И нет беды печальней детской свинки,
всех ужаснувшей,— да и та прошла.

Так я играю с домом и заливом.
Я занята лишь этим пустяком.
Над их ко мне пристрастием взаимным
смеется кто-то за цветным стеклом.

Как все сошлось! Та самая погода
и тот же тост: — Так больше жить нельзя!
Всего лишь май двенадцатого года:
ждут Сапунова к ужину не зря.

ПОСТУПОК РОЗЫ¹

Памяти Н. Н. Сапунова

«Как хороши, как свежи...» О, как свежи,
как хороши! Пять было разных роз.
Всему есть подражатели на свете
иль двойники. Но роза розе — рознь.

Четыре сразу сгнули. Но главной
был так глубок и жадно-дышащ зев:
когда б гортань стать захотела гласной,—
рык издала бы роза — царь и лев.

Нет, все ж не так. Я слышала когда-то,
мне слышалось, иль выдуманно мной
безвыходное низкое контральто:
вулканный выдох глубины земной.

Речей и пеня на высоких нотах
не слышу: как-то мелко и мало.
Труд розы — вдох. Ей не положен отдых.
Трудись, молчи, сокровище мое.

Но что же запах, как не голос розы?
Смолкает он, когда она мертва.
Прости мои развязные вопросы.
Поговорим, о госпожа моя.

¹ Художник Н. Н. Сапунов утонул в Финском заливе 14 июня 1912 года.

Куда там! Норов розы не покладист.
Вдруг аромат — отлёт ее души?
Восьмой ей день. Она свежа покамест.
Как свежи, боже мой, как хороши

слова совсем бессмысленной и нежной,
прелестной и докучливой строки.
И роза, вместо смерти неизбежной,
здоровая — здравомыслию вопреки.

Светает. И на синеве, как рана,
отверсто горло розы на окне,
и скорбно черно-алое контральто.
Сама ль я слышу? Слышится ли мне?

Не с повеленьем, а с монаршей просьбой
не спорить же. К заливу я иду.
— О, не шути с моей великой розой! —
прошу и розу отдаю ему.

Плыви, о роза, бездну украшая.
Ты выбрала. Плыви светло, легко.
От Териок водою до Кронштадта,
хоть это смерть, не так уж далеко.

Волнам предайся, как художник милый
в ночь гибели, для века роковой.
До берега, что стал его могилой,
и ты навряд ли доплывешь живой.

Но лучше так — в разгар судьбы и славы,
предчувствуя, но знанья избежав.
Как он спешил! Как нервы были правы!
На свете так один лишь раз спешат.

Не просто тело мертвое качалось
в бесформенном удушии воды —
эпоха упования кончалась
и занимался крах его среды.

Вы встретитесь! Вы стоите друг друга:
одна осанка и один акцент,
как принято средь избранного круга,
куда не вхож богатый фармацевт.

Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.
Его настой другой цветок лакал.
Но слышалось бездонное контральто,
и выдох уст еще благоухал.

Вот истечение поминальных суток
по розе. Синева и пустота.
То — гордой розы собственный поступок.
Я ни при чем. Я розе — не чета.

* * *

Лапландских летних льдов недалняя граница.
Хлад Ладogi глубок и плавен ход лады.
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.
И ладен строй души, отверстой для любви.

Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?
Брезгливо серебро к затратам золотым.
Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.
(Латуни не нашлось, так сыщется латынь.)

Приладились слова к Приладожскому ладу.
(Вкруг лада — все мое, Брокгауз и Эфрон.)
Ум — гения черта, но он вредит таланту:
стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврет.

В околицах ума, в рассеянных чернотах,
ютится бедный дар и пробует сказать,
что он не позабыл Ладыжинских черемух
в пред-Ладожской стране, в над-Ладожских скалах.

Лещинный мой овраг, разлатанный, ледащий,
мною обольщен и мною приважен к похвалам.
Валунный водолей, над Ладогой летящий,
благослови его, владыко Валаам.

Черемух розных двух пересеченьем тайным
мой помысел ночной добыт и растворен
в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник,—
он, впрочем, не вступал в безумный разговор.

Фотограф знать не мог, что выступит на снимке
присутствие судьбы и дерева в окне.

Средь схемы световой — такая сила схимы
в зрачке, что сил других не остается мне.

Лицо и речь — души неодолимый подвиг.

В окладе хладных вод сияет день молодой.

Меж утомленных век смешались полночь, полдень,
лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.

НОЧНОЕ

Ночные измышленья, кто вы, что вы?
Мне жалко вашей робкой наготы.
Жаль, что нельзя, нет сил надвинуть шторы
на дождь в окне, на мокрые цветы.

Все отгоняю крылья херувима
от маленького ада ночника.
Черемуха — слепая балерина —
последний акт печально начала.

В чем наша связь, писания ночные?
Вы — белой ночи собственная речь.
Она пройдет — и вот уже ничьи вы.
О ней на память надо ль вас беречь?

И белый день туманен, белонощен.
Вниз поглядеть с обрыва — все равно
что выхватить кинжал из мягких ножен:
так вод холодных остро серебро.

Дневная жизнь — уловка, ухищренье
приблизить ночь. Опаска все сильней:
а вдруг вчера в над-Ладожском ущелье
дотла испепелился соловей?

Нет, Феникс мой целехонек и свищет:
слог, слог — тире, слог, слог — тире, тире.
Пунктира ощупь темной цели ищет,
и слаще слова стопор слов в строке.

Округла полночь. Все свежо. Все внове.
Я из чужбины общей ухожу
и возвращаюсь в отчее, в ночное.
В ночное — что? В ночное — что хочу.

* * *

Взамен элегий — шуточки, сарказмы.
Слог не по мне, и всё здесь не по мне.
Душа и местность не живут в согласье.
Что делаю я в этой стороне?

Как что? Очнись! Ты родом не из финнов,
не из дельфинов. О язык-болтун!
Зачем дельфинов помянул безвинных,
в чей ум при мне вникал глупец Батум?

Прости, прости, упасший Ариона
да и меня — летящую во сне
во мгле Красногвардейского района
в первопрестольном городе Москве.

Вот, объясняю, родом я откуда.
Но сброд мотеля смотрит на меня
так, словно упомянутое чудо —
и впрямь моя недалняя родня.

Немудрено: туристы да прислуга,
и развлеченья их невелики.
А тут — волною о скалу плеснуло:
в диковинку на суше плавники.

Запретный блеск чужого ширпотреба
приелся пресным лицам россиян.
— Забудь все это! — кроткого привета
раздался всплеск, и образ просиял.

Отбор довел до совершенства лица:
лишь рознь пороков оживляет их.
— Забудь! Оставь! — упрашивал и длился
печальный звук, но изнемог и стих.

Я шла на зов — бар по пути проведав.
Вдруг как-то мой возвысился удел.
Зрачком Петра я глянула на шведов.
За стойкой плут — и тот похолодел.

Он — сложно-скрытен, в меру раболепен,
причастен тайне, неизвестной нам.
— Оставь! Иди! — опять забрезжил лепет.
Иду. Но как прозрачно-скучен хам.

Как беззащитно уязвлен обидой.
— Иди! — неслось.— Скорей иди сюда!
Вот этих, с тем, что в них, автомобилей
напрасно жаждать — лютая судьба.

Мне белоснежных шведов стало жалко:
смущен, повержен, ранен в ногу Карл.
Вдруг — тишина. Но я уже бежала:
окликни вновь, коль прежде окликал!

Вчера писала я, что на запоре
к заливу дверь. Слух этот справедлив,
но лишь отчасти: есть дыра в заборе.
— Не стой как пень,— мне указал залив.

Я засмеялась: к своему имению
финн не пролез. А я прошла. Вдали,
за длительной серебряною мелью,
стояло небо, плыли корабли.

Я шла водой и слышала взаимность
воды, судьбы, туманных берегов.
И, как Петрова вспыльчивая милость,
явился и сокрылся Петергоф.

С тех пор меня не видывала суша.
Воспетый плут вернуться завлекал.
В мотеле всем народам стало скушно,
но полегчало мокрым плавникам.

* * *

Чудовищный и призрачный курорт —
улада для заезжих чужестранцев.
Их привлекает пристальный урод
(знать, больше нет благообразных старцев),
и так порочен этот вождь ворот,
что страшно за рассеянных скитальцев.
Простят ли мне Кирилл и Ферапонт,
что числилась я в списке постояльцев?

Я — невиновна. Произволен блат:
стихотворивы дивы «Интуриста».
Одни лишь финны, гости финских блат,
не ощущают никакого риска,
когда красотка поднимает взгляд,
в котором хлад стоит и ад творится.
Но я не вхожа в этот хладный ад:
всегда моя потуплена зеница.

Вид из окна сосна и «мерседес».
Пир под сосной мой пресытил уши.
Официант, рожденный для злодейств,
погрязнуть должен в мелочи и в чуши.

Отечество, ты приютилось здесь
подобострастно и как будто вчуже.
Но разнорой моих ночных сердец
всегда тебя подозревает в чуде.

Ни разу я не выходила прочь
из комнаты. И предается думе
прислуга (вся в накрапе зримых порч):
от бедности моей или от дури?

Пейзаж усилен тем, что вдвинут «порш»
в невидимые мне залив и дюны.
И, кроме мысли, никаких нет почт,
чтоб грусть моя достигла тети Дюни.

Чтоб городок Кириллов позабыть,
отправлюсь-ка проведать жизнь иную.
Дежурной взгляд незряч, но остро-быстр.
О, я в снэк-бар всего лишь, не в пивную.

Ликуют финны. Рада я за них.
Как славно пьют, как весело одеты.
Пускай себе! Ведь это — их залив.
А я — подкидыш, сдуру взятый в дети.

С улыбкой собеседники следят:
смотри, коль слово лишнее проронишь.
Но не сидеть же при гостях в слезах?
Так осмелел, что пьет коньяк приемыш.

Финн спросил: «Where are you from,
madame?»

Приятно поболтать с негоциантом.
— Оттуда я, где черт нас догадал
произрасти с умом да и с талантом.

Он поражен: с талантом и умом?
И этих свойств моя не ценит фирма?
Не перейти ль мне в их торговый дом?
— Спасибо, нет,— благодарю я финна.

Мне повезло: никто не внял словам
того, чья слава множится и крепнет:
ни финн, ни бармен — гордый внук славян,
ну а тунгусов не пускают в кемпинг.

Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь,
где зарасту бессмертной лебедою.
Кириллов же и ближний Белозерск
сокроются под вечною водою.

Что ж, тете Дюне — девяностый год, —
финн речь заводит об архитектуре, —
а правнуков ее большой народ
мечтает лишь о финском гарнитуре.

Тут я смеюсь. Мой собеседник рад.
Он говорит, что поставляет мебель
в столь знаменитый близлежащий град,
где прежде он за недосугом не был.

Когда б не он — кто бы наладил связь
бессвязных дум? Уж если жить в мотеле
причудливом — то лучше жить смеясь,
не то рехнуться можно в самом деле.

В снэк-баре — смех, толкучка, красота,
и я люблюсь финкой молодою:
уж так свежа (хоть несколько толста).
Я выхожу, иду к чужому дому,
и молвят Ферапонтовы уста
над бывшей и грядущею юдолюю:
«Земля была безвидна и пуста,
и Божий дух носился над водою».

ГРЯДА КАМНЕЙ

I

Как я люблю гряду моих камней,
моих, моих! — и камни это знают,
и череду пустых и светлых дней,
из коих каждый лишь заливом занят.

Дарован день — и сразу же прощен.
Его изгиб — к заливу приниканье.
Привадились прыжок, прыжок, прыжок
на крайнем останавливаться камне.

Мной этот путь проторен столько крат,
так пристально то медлил, то парил он,
что в опыт камня свой принес карат
моих стояний и прыжков период.

Гряда моя вчера была черна,
свергал меня валун краеугольный.
Потопная воды величина
вал насылала, сумрачный и вольный.

Чуть с ног не сбил и до лица достал
взрыв бурных брызг. Лишь я и

многоводность.

Коль смоем море лишнюю деталь,
не будет ничего здесь, никого здесь.

В какую даль гряду ни протянуть —
пунктир тысячелетий до Кронштадта.

Кто это — Петр? Что значит — Петербург?
Века проходят, волны в пыль крошатся.

Я не умею помышлять о том.
Не до того мне. Как недавней рыбе
не занестись? Она — уже тритон,
впервой вздохнувший на гранитной глыбе.

Как хорошо, что жабрам и хвосту
осознавать не надо бесконечность.
Не боязлив мой панцирь, я расту,
и мне уютна отчая кромешность.

Еще ничьи не молвили уста
над непробудной бездной молодой:
«Земля была безвидна и пуста,
и божий дух носился над водою».

Вдруг новое явилось существо.
Но явно: то — другая разновидность,
движение двух конечностей его
приблизилось ко мне, остановилось.

Спугнувший горб и перепонки лап,
пришелец сам подавлен и растерян.
Непостижимый первобытный взгляд
страшит его среди сырых расщелин.

Пришлось гасить сверканье чешуи,
сменить обличье, утаить породу,
и тьмы времен прожить для чепухи —
раскланяться и побранить погоду.

Ознобно ждать, чтобы чужак ушел,
в беседе задышаться подневольной,
вернуться в дом: прыжок, прыжок, прыжок —
и вновь предаться думе земноводной.

II

Как я люблю гряды моих камней,
простертую в даль моего залива,—
прочь от строки, влачащейся за ней.
Как быть? Строка гряды не разлюбила.

Я тут как тут в едва шестом часу.
Сон — краткий труд, зато пространен
роздых.
Кронштадт — вдали, поверх и на весу,
словно Карсавина, прозрачно розов.

Андреевский собор, опять пришел
к тебе мой взор — твой нежный прихожанин.
Гряда: шаг, шаг, стою, прыжок, прыжок,
стою. Вдох легких ненасытно жаден.

Целую воду. Можно ли воды
чуть-чуть испить? — Пей вдоволь! —
Смех залива
пью и целую. Я люблю гряды
все камни — безутешно, но взаимно.

Я слышу ласку сдержанных камней,
ладонью взгорбья их умов читая,
и различаю ощупью моей
обличий и осанок очертанья.

Их формой сжата формула времен,
вся длительность и вместе краткий вывод.
Смысл заточен в гранит и утаен —
укрытье смысла наблюдатель видит.

Но осязает чуткая рука
ответный пульс слежавшихся энергий,

и стиснутые, спертые века
теплы и вмяты коже многонервной.

Как пусто это сказано: века.
Непостижимость силясь опровергнуть,
в глубь тайны прянет взглядливость зрачка —
и слепо расшибется о поверхность.

Миг бытия вмещается в зазор
меж камнем и ладонью. Ты теряешь
его в честь камня. Твой недвижим взор,
и голос чайки душераздирающ.

Воздвигнув на заглавном валуне
свой штрих непрочный над пустыней бледной,
я думаю: на память обо мне
останется мой камень заповедный.

Но — то ль Кронштадт меня в залив сманил,
то ль сам слизнул беспечный смех залива —
я в нем. Над унижением моим
белеет чайка стройно и брезгливо.

Бывает день, когда смешливость уст —
заняты дня, забывшего про вечность.
Я отрясаю мокроту и смеюсь.
Родную брэнность не пора ль проведать?

Оскальзываюсь, вспять гряды иду,
оглядываюсь на воды далекость.
И в камне, замыкающем гряду,
оттиснута мгновенья мимолетность.

III

Как я люблю — гряду или строку,
камней иль слов — не разберу спросонок.
Цвет ночи, подступающей к окну,
пустой страницей на столе срисован.

Глаз дня прикрыт — мгновенье ока: тьма —
и снова зряч. Жизнь лакомств сокрушая,
гром дятла грянул в честь житья-бытья.
Ночь возвращает зренью долг Кронштадта.

Его объем над плосководьем волн —
как белый профиль дымчатой камеи.
Из ряда прочих видимостей вон
он выступил, приемля поклоненье.

Как я люблю гряду... — но я смеюсь:
тону в строке, как в мелкости прибрежной.
Пытается последней мглы моллюск
спастись в затворе раковины нежной.

Но сумрак вскрыт, разъят, преодолен
сверканьем, — словно, к ужасу владельца,
заветный отворили медальон,
чтоб в хрупкое сокровище взглядеться.

И я из тех, кто пожелал глядеть.
Сон был моей случайно ошибкой.
Все утро, весь пред-белонощный день
залив я озираю беззащитный.

Он — содержанье мысли и окна.
Но в полночь просит: — Не смотри, не надо!
Так — нагота лица утомлена,
зачитана сторонней волей взгляда.

Пока залив беспомощно простер
все прихоти свои, все поведенья,
я знаю, как гнетет его присмотр:
сама — зевак законные владенья.

Что — я! Как нам залив не расплескать?
Паломники его рассветной рани
стекаются с припасами пластмасс
и беспородной рукотворной дряни.

День выходной: день — выход на разбой.
Поруганы застенчивые дюны,
и побирушкой роется прибой
в останках жалкой и отравной дури.

Печальный звук воздымлен на устах
залива: — Все тревожишь, все неволишь.
Что мне они! Хоть ты меня оставь.
Мое уединение — мое лишь.

Оно — твое лишь. Изнутри запри
покрепче перламутровые створки.
Есть время от зари и до зари.
Ночь сплющена в его ужайшем сроке.

Я задвигаю занавес. Бледны
залив и я в до-утренних кулисах —
в его, в моих. Но сбивчивой волны
бег неусыпен в наших схожих лицах.

Меня ночным прохожим выдает,
сквозь штор неплотность, лампы
процветанье.

Разоблаченный рампой водоем
забыл о ней и предается тайне.

Прощай, гряда, прощай, строка о ней.
Залив, зачем все больно, что родимо?
Как далеко ведет гряда камней,
не знала я, когда по ней бродила.



* * *

Лишь июнь сортавальские воды согрел —
поселенья опальных черемух сгорели.
Предстояла сирень, и сильней и скорей,
чем сирень, расцвело обожанье к сирени.

Тьмам цветений назначил собор Валаам.
Был ли молод монах, чье деянье сохранно?
Тосковал ли, когда насаждал-поливал
очертания нерукотворного храма?

Или старец, готовый пред богом предстать,
содрогнулся, хоть глубь этих почв не червива?
Суммой сумрачной заросли явлена страсть.
Ослушанье послушника в ней очевидно.

Это — ересь июньских ночей на устах,
сон зрачка, загулявший по ладожским водам.
И не виден мне богобоязненный сад,
дали ветку сирени — и кажется: вот он.

У сиреневых сводов нашелся один
прихожанин, любое хождение отвергший.
Он глядит нелюдимо и сиднем сидит,
и крыльцу его — в невидаль след человеческий.

Он заранее запасся скалою в окне.
Есть сусек у него: ведовская каморка.
Там он держит скалу, там случилось и мне
заглядеться в ночное змеиное око.

Он хватает сирень и уносит во мрак
(и выносит черемухи остов и осыпь).
Непричастен сему светлоликий монах,
что терпением сирени отстаивал остров.

Наплывали разбой и разор по волнам.
Тем вольней принималась сирень разрастаться.
В облаченье лиловом вставал Валаам,
и смотрело растение в глаза святотатца.

Да, хватает, уносит и смотрит с тоской,
обожая сирень, вождедея сирени.
В чернокнижной его кладовой колдовской
борода его кажется старше, синее.

Приворотный отвар на болотном огне
закипает. Летают крылатые мыши.
Помутилась скала в запотевшем окне:
так дымится отравное варево мысли.

То ль юннат, то ли юный другой следопыт
был отправлен с проверкою в дом под скалою.
Было рано. Он чая еще не допил.
Он ушел, не успев попрощаться с семьею.

Он вернулся не скоро и вчуже смотрел,
говорил неохотно, держался сурово.
— Там такие дела, там такая сирень,—
проронил — и другого не вымолвил слова.

Относили затворнику новый журнал,
предлагали газету какую угодно.
Никого не узнал. Ничего не желал.
Грубо ждал от смущенного гостя — ухода.

Лишь остался один — так и прыгнул в тайник,
где храним ненаглядный предмет обожанья.
Как цветет его радость! Как душу томит,
обещать не умея и лишь обольщая!

Неужели нагрянут, спугнут, оторвут
от судьбы одинокой, другим незавидной?
Как он любит течение ее и триумф
под скалою лесною, звериной, змеиной!

Экскурсантам, что свойственны этим местам,
начал было твердить предводитель экскурсий:
вот-де дом под скалой... Но и сам он устал,
и народу казалась история скушной.

Был забыт и прощен ее скромный герой:
ответ острова сердце склоняет к смиренности.
От свершений мирских упасаем горой,
пусть сидит со своей монастырской сиренью.

* * *

Сирень, сирень — не кончилась бы худом
моя сирень. Боюсь, что не к добру
в лесу нашла я разоренный хутор
и у него последнее беру.

Какое место уготовил дому
разумный финн! Блеск озера слезил
зрачок, когда спускалась за водою
красавица, а он за ней следил.

Как он любил жены златоволосой
податливый и плодоносный стан!
Она, в невестах, корень приворотный
заваривала — он о том не знал.

Уже сынок играл то в дровосека,
то в плотника, и здраво взгляд синел,—
все мать с отцом шептались до рассвета,
и все цвела и сыпалась сирень.

В пять лепестков она им колдовала
жить-поживать и наживать добра.
Сама собой слагалась Калевала
во мраке хвой вокруг светлого двора.

Не упасет неустрашимый Калев
добротной, животворной простоты.
Все в бездну огнедышащую канет.
Пройдет полвека. Устоят цветы.

Душа сирени скорбная витает —
по недосмотру бывших здесь гостей.
Кто предпочел строению — фундамент,
румяной плоти — хрупкий хруст костей?

Нашла я доску, на которой режут
хозяйки снедь на ужинной заре,—
и заболел какой-то серый скрежет
в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.

Зачем мой ход в чужой цветник вломился?
Ужель, чтоб на кладбище пировать
и языка чужого здравомыслье
возлюбленную речью попирать?

Нет, не затем сирени я добытчик,
что я сирень без памяти люблю,
и многотолпен стал ее девичник
в сырой пристройке, в северном углу.

Все я смотрю в сиреневые очи,
в серебряные воды тишины.
Кто помышлял: пожалуй, белой ночи
достаточно — и дал лишь пол-луны?

Пред-северно, продольно, сыровато.
Залив стоит отвесным серебром.
Дождит, и отзовется Сортавала,
коли ее окликнешь: Сердоболь.

Есть у меня будильник, полномочный
не относиться к бдению иль сну.
Коль зазвенит — автобус белонощный
я стану ждать в двенадцатом часу.

Он появляться стал в канун сирени.
Он начал до потопа, до войны
свой бег. Давно сносились, устарели
его крыла, и лица в нем бледны.

Когда будильник полночи добьется
по усмотренью только своему,
автобус белонощный пронесется —
назад, через потоп, через войну.

В обратность дней, вспять времени
и смысла
гремит его брезентовый шатер.
Погони опасаясь или сыска,
тревожно озирается шофер.

Вдоль берега скалистого, лесного
летит автобус — смутен, никакков.
Одна я слышу жуткий смех клаксона,
хочу взглядеться в лица седоков.

Но вижу лишь бескровный и зловещий
туман обличий и не вижу лиц.
Все это как-то связано с зацветшей
сиренью возле старых пепелищ.

Ужель спешат к владениям отцовским,
к пригожим женам, к милым сыновьям.
Конец июня: обоняньем острым
о сенокосе грезит сеновал.

Там — дом смолист, нарядна черепица.
Красавица ведро воды несла —
так донесла ли? О скалу разбиться
автобусу бы надо, да нельзя.

Должна ль я снова ждать их на дороге
на Питкяранту? (Славный городок,
но как-то грустно, и озябли ноги,
я ныне странный и плохой ходок.)

Успею ль сунуть им букет заветный
и прокричать: возьми, несчастный друг! —
в обмен на скользь и склизь прикосновений
их призрачных и благодарных рук?

Легко ль так ночи проводить, а утром,
чей загодя в ночи содеян свет,
опять брести на одинокий хутор
и уносить сирени ветвь и весть?

Мой с диким механизмом поединок
надолго ли? Хочу чернил, пера
или заснуть. Но вновь блажит будильник.
Беру сирень. Хоть страшно — но пора.

* * *

Я — лишь горы моей подножье,
и бытия величина
в жемчужной раковине ночи
на весь июнь заточена.

Внутри немеркнувшего нимба
души прижился завиток.
Иль Ибсена закрыта книга,
а я — засохший в ней цветок.

Все кличет кто-то: Сольвейг! Сольвейг! —
в чащобах шхер и словарей.
И, как на исповеди совесть,
блаженно страждет соловей.

В жемчужной раковине ночи,
в ее прозрачной свето-тьме
не знаю я сторонней нови,
ее гонец невхож ко мне.

Мгновенье сомкнутого ока
мою зеницу бережет.
Не сбережет: меня жестоко
всеобщий призовет рожок.

Когда в июль слепящий выйду
и вспомню местность и людей,
привыкну ль я к чужому виду
наружных черт судьбы моей?

Дни станут жарче и короче,
и чайка выключает чуть свет
в жемчужной раковине ночи
невзрачный водянистый след.

* * *

Не то чтоб я забыла что-нибудь —
я из людей и больно мне людское, —
но одинокий мной проторен путь:
взойти на высший камень и вздохнуть,
и все смотреть на озеро морское.

Туда иду, куда меня ведут
обочья скал, лиловых от фиалок.
Возглавие окольных мхов — валун.
Я вглядываюсь в север и в июнь,
их распластав внизу, как авиатор.

Меня не опасается змея:
взгляд из камней недвижим и разумен.
Трезубец воли, скрытой от меня,
связует воды, глыбы, времена
со мною и пространство образует.

Поднебно вздыбье каменных стропил.
Кто я? Возьму державинское слово:
я — некакий. Я — некий нетопырь,
не тороплив мой лёт и не строптив
чуть выше обитания земного.

Я думаю: вернуться ль в род людей,
остаться ль здесь, где я невиновата
иль прощена? Мне виден ход ладей
пред-ладожский и — дальше и левей —
нет, в этот миг не видно Валаама.

* * *

То ль потому, что ландыш пожелтел
и стал невзрачной пользой аптечной,
то ль отвращенье возбуждал комар
к съедобной плоти — родственнице тел,
кормящихся добычей бесконечной,
как и пристало лакомым кормам...

То ль потому, что встретила змея,—
я бы считала встречу добрым знаком,
но так она не расплела колец,
так равнодушно видела меня,
как если б я была пред вещим зраком
пустым экраном с надписью: «Конец»...

То ль потому, что смерклось на скалах
и паузой ответила кукушка
на нищенский и детский мой вопрос,—
схоласт-рассудок явственно сказал,
что мне мое не удалось искусство,—
и скушный холод в сердце произрос.

Нечаянно рука коснулась лба:
в чем грех его? в чем бедная ошибка?
Достало и таланта, и ума,
но слишком их таинственна судьба:
окраинней и глуше нет отшиба,
коль он не спас — то далее куда?

Вчера, в июня двадцать третий день,
был совершенен смысл моей печали,
как вид воды — внизу, вокруг, вдали.
Дано ль мне знать, как глаз змеи глядел?
Те, что на скалах, ландыши увяли,
но ландыши низин не отцвели.

* * *

Здесь никогда пространство не игриво,
но осторожный анонимный цвет —
уловка прятков, ночи мимикрия:
в среде черемух зримой ночи нет.

Но есть же! — это мненье циферблата,
два острия возведшего в зенит.
Благоуханье не идет во благо
уму часов: он невпопад звенит.

Бескровны формы неба и фиорда.
Их полых впадин кем-то выпит цвет.
Диковиной японского фарфора
Черемухи подрагивает ветвь.

Восславив полночь дребезгами бреда,
часы впадают в бледность забытья.
Взор занят обреченно и победно
черемуховой гроздью бытия.

* * *

Так бел, что опалает веки,
кратчайшей ночи долгий день,
и белоручкам белошвейки
прощают молодую лень.

Оборок, складок, кружев, рюшей
сегодня праздник выпускной
и расставанья срок горючий
моей черемухи со мной.

В ночи девичьей, хороводной
есть болевшая тоска.
Ее заботой хлороформной
туманят действия цветка.

Воскликнет кто-то: знаем, знаем!
Приелся этот ритуал!
Но всех поэтов всех избранниц
кто не хулил, не ревновал?

Нет никого для восклицаний:
такую я сыскала глушь,
что слышно, как, гонимый цаплей,
в расщелину уходит уж.

Как плавно выступала пава,
пока была ее пора! —
опалом пагубным всплывала
и Анной Павловой плыла.

Еще ей рукоплещут ложи,
еще влюблен в нее бинокль —
есть время вымолвить: о боже! —
нет черт в ее лице больном.

Осталась крайность славы: тризна.
Растенье свой триумф снесло,
как знаменитая артистка, —
скоропостижно и светло.

Есть у меня чулан фатальный.
Его окно темнит скала.
Там долго гроб стоял хрустальный,
и в нем черемуха спала.

Давно в округе обгорело,
быльем зеленым поросло
ее родительское древо
и все недалнее родство.

Уж примерялись банты бала.
Пылали щеки выпускниц.
Красавица не открывала
дремотно-приторных ресниц.

Пеклась о ней скалы дремучесть
все каменистой, все лесней.
Но я, любя ее и мучась, —
не королевич Елисей.

И главной ночью длинно-белой
вблизи неутолимых глаз
с печальной грацией несмелой
царевна смерти предалась.

С неизъяснимою тоскою,
словно былую жизнь мою,
я прах ее своей рукою
горы подножью отдаю.

— Еще одно настало лето,—
сказала девочка со сна.
Я ей заметила на это:
— Еще одна прошла весна.

Но жизнь свежа и беспощадна:
в черемухи прощальный день
глаз безутешный — мрачно, жадно
успел воззриться на сирень.

ЧЕРЕМУХА БЕЛОНОЩНАЯ

Черемухи вдыхатель, воздыхатель,
опять я пью настой ее души.
Пристрастьем этим утомлен читатель,
но мысль о нем не водится в глуши.

Май подмосковный жизнь ее рассеял
и сестрорецкий позабыл июнь.
Я снегирем преследовала север,
чтобы врасплох застать ее канун.

Фиалки собирала Сортавала,
но главная владычица камней
еще свои намеренья скрывала,
еще и слуху не было о ней.

И кто она? Хоть родом из черемух —
не ищет и чурается родства.
Вдоль строгих вод серебряно-черных
из холода она произросла.

Я — вчуже ей, южна и чужестранна.
Она не сообщительна в цвету:
несколько задушевничать не стала,
в неволю не пошла на поводу.

Рубаха-куст, что встрепан и распахнут,
ей жалок. У нее другая статья.
Как замкнуто она, как гордо пахнет —
ей не пристало ноздри развлекать.

Когда бы поэтических намеков
был ведом слог красавице моей, —
ей был бы предпочтителен Набоков.
А с челядью — зачем якшаться ей?

Что делать мне? К вниманию маньяка
черемуха брезглива и слепа.
Неровня ей навязчивый меняла
запретных тайн на мелкие слова.

Она — бельмо в моих глазах усталых
и кисея завесы за окном:
в ее черте, в урочище русалок
был возведен бледно-зеленый дом.

Дом и растенье призрачны на склоне
горы, бледно-зеленом, как они.
Все здесь бледны, все зелены, но вскоре
порозовеет с правой стороны.

Ночного света маленькая убыль.
Внутри огня, помоста на краю,
с какой тоской: — Она меня не любит! —
я голосом Сальвини говорю.

Соцветья суверенные повисли,
но бодрствуют. Кому она верна?
Зачем не любит? Как ее по-фински
зовут? С утра спрошу у словаря.

...Нет надобного словаря в читальне.
Не утерпевшей на виду не быть
пусть имя маски остается в тайне —
не Блоку же перечить и грубить.

Записку мне послала Сортавала.
Чья милая, чья добрая рука
для блажи чужака приоткрывала
родную одинокость языка?

Все нежность, нежность. И не оттого ли
растенье потупляет наготу
перед грубым взором? Ведь она — туоми.
И кúкива туоми, коль в цвету.

Туоми пúу — дерево. Не легче
от этого. Вблизи небытия
ответствует черемухи наречье:
— Ступай себе. Я не люблю тебя.

Еще свежа и голову туманит.
Ужель вся эта хрупкость к сентябрю
на ягоды пойдет? (Туомénмáрьят —
я с тайным раздраженьем говорю.)

И снова ночь. Как удалась мгновенью
такая закись света и темна?
Туоми, так ли? Я тебе не верю.
Прощай, Туоми. Я люблю тебя.

* * *

Всё шхеры, фиорды, ущельных существ
оттуда пригляд, куда вживе не ходят.
Скитания омутно-леший сюжет,
остуда и оторопь, хвоя и холод.

Зажжен и не гаснет светильник сырой.
То — Гамсуна пагуба и поволока.
С налету и смолоду прянешь в силоч —
не вырвешь души из его приворота.

Болотный огонь одолел, опалил.
Что — белая ночь? Это имя обманно.
Так назван условно маньяк-аноним,
чьим бредням моя приглянулась бумага.

Он рыщет и свищет, и виснут усы,
и девушке с кухни понятны едва ли
его бормотанья: — Столь грешные сны
страшны или сладостны фрёкен Эдварде?

О фрёкен Эдварда, какая тоска —
над вечно кипящей геенной отвара
помешивать волны, клубить облака —
какая отвага, о фрёкен Эдварда!

И девушка с кухни страшится и ждет.
Он сгинул в чащобе — туда и дорога.
Но огненной порчей смущает и жжет
наитье прохладного глаза дурного.

Двоится мой след на росистом крыльце.
Гость-почерк плетет письмена предо мною.
И в новой, чужой, за-озерной красе
лицо провинилось пред явью дневною.

Всё чушь, чешуя, серебристая чужь.
И девушке с кухни до страсти охота
и страшно — крысиного яства чуть-чуть
добавить в унылое зелье компота.

* * *

Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет,
от соседства-родства упасенный отшибом.
Лишь увидела дом — я подумала: вот
обиталище надобных снов и ошибок.

В его главном окне обитает вода,
назовем ее Ладогой с малой натяжкой.
Не видна, но Полярная светит звезда
в потайное окно, притесненное чащей.

В эти створки гляжу, как в чужой амулет
иль в укрытие слизня, что сглазу не сносит.
Склон горы, опрокинувшись и обомлев,
дышит жабрами щелей и бронхами сосен.

Дом причастен воде и присвоен горой.
Помыкают им в очередь волны и камни.
Понукаемы сдвоенной белой зарей
преклоненье хребта и хвоста пресмыканье.

Я люблю, что его чешуя зелена.
И ночному прохожему видно с дороги,
как черемухи призрак стоит у окна
и окна выражение потусторонне.

Дому придан будильник. Когда горизонт
расплывется и марля от крыльев злотворных
добавляет туману, — пугающий звон
издает заточенный в пластмассу затворник.

Дребезжит самовольный перпетуум-плач.
Ветвь черемухи — большого выпуклый образ.
Второгодник, устав от земных неудач,
так же тупо и пристально смотрит на глобус.

Полночь — вот вопросительной ветви триумф.
И незримый наставник следит с порицаньем.
О решенье задачи сносился мой ум.
Вид пособия наглядного непроницаем.

Скудость темени — свалка пустот и чернот.
Необщительность тайны меня одолеет.
О, узреть бы под утро прозрачный чертог
вместо зыбкого хаоса, как Менделеев.

Я измучилась на белонощном посту,
и черемуха перенасыщена мною.
Я, под панцирем дома, во мхи уползу
и лицо оплесну неразгаданной мглой.

Покосившись на странность занятий моих,
на работу идет непроснувшийся малый.
Он не знает, что грустно любим в этот миг
изнуренным окном, перевязанным марлей.

Кто прощает висок, не познавший основ?
Кто, смешливый и ласковый, **смотрит** из близи?
И колышется сон... убаюканный сон ...
сон-аргентум в отчетливой отчей таблице.

* * *

Сверканье блёсен, жалобы уключин.
Лишь стол и я смеемся на мели.
Все ловят щук. Зато веленьем щучьим
сбываются хотения мои.

Лилового махрового растенья
хочу! — сгустился робкий аметист
до зауми чернильного оттенка,
чей мрачный слог мастит и знаменит.

Исчадье дальнеродственных династий,
породы упованье и итог,—
пустив на буфы бархат кардинальский,
цветок вступает в скудный мой чертог.

Лишь те, чей путь — прыжок из грязи
в князи,
пугаются кромешности камор.
А эта гостья — на подмостках казни
войдет в костер: в обыденный комфорт.

Каморки заковыристой отшелье —
ночных крамол и таинств закрома.
Не всем домам дано вовнутрь ущелье.
Нет, не во всех домах живет скала.

В моем — живет. Мох застилает окна.
И Север, преступая перевал,

зажигает и туманит стекла,
вот и сегодня вспомнил, побывал.

Красе цветка отечественна здравость
темнот застойных и прохладных влаг.
Он полюбил чужбины второзданность:
чащобу-дом, дом-волю, дом-овраг.

Явилась в нем нездешняя осанка,
и выдаст обращенья простота,
что эта, под вуалью, чужестранка —
к нам ненадолго и не нам чета.

Кровь звезд и бездн под кожей серебрится,
и запах умоляюще несмел,
как слабый жест: ненужно так близко!
Здесь — грань прозрачных и возбранных сфер.

Высокородный выкормыш каморки
приемлет лилий флорентийских весть,
обмолвки, недомолвки, оговорки
вобрав в лилейный и лиловый цвет.

Так, усмотреньем рыбы востроносой,
в теснине каменистого жилья,
со мною делят сумрак осторожный
скала, цветок и ночь-ворожея.

Чтоб общежитья не смущать основы
и нам пред ним не возгордиться вдруг,
приходят блики, промельки, ознобы
и замыкают узко-стройный круг.

— Так и живете? — Так живу, представьте.
Насущнее всех остальных проблем —

оставленный для Ладоги в пространстве
и Ладогой заполненный пробел.

Соединив живой предмет и образ,
живет за дважды каменной стеной
двужильного уединенья доблесть,
обняв сирень, оборонясь скалой.

А этот вот, бредущий по дороге,
невзгодой оглушенный человек
как связан с домом на глухом отроге
судьбы, где камень вещь и острроверх?

Все связано, да объяснить непросто.
Скала — затем, чтоб тайну уберечь.
Со временем все это разберется.
Сейчас — о ночи и сирени речь.

* * *

Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого́ нет,
но воздуха и вод удвоен гласный звук,
как если б кто-то был и вымолвил: Коонен...
О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.

Я помню голос тот, не родственный канонам
всех горл: он одинок единоголasyя средь,
он плоской высоте приходится каньоном,
и зренью приоткрыт многопородный срез.

Я слышала его на поминанье Блока.
(Как грубо молода в ту пору я была.)
Из перьев синих птиц, чья вотчина — эпоха
белая, в дне чужом нахохлилось боа.

Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока
уныньем горловым — понять я не могла.
Но сколько лет прошло! Когда боа поблёлло,
рок маленький ко мне послал его крыла.

Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?
Акцент долгот присуц волнам и валунам.
Аа — таков ответ незримых колоколен.
То — эхо возвратил недалний Валаам.

* * *

Вошла в лиловом в логово и в лоно
ловушки — и благословил ловец
все, что совсем, почти, едва лилово
иль около-лилово, наконец.

Отметина преследуемой масти,
вернись в бутон, в охранную листву:
все, что повинно в ней хотя б отчасти,
несет язычник в жертву божеству.

Ему лишь лучше, если цвет уклончив:
содеяв колоколенки разор,
он нехристом напал на колокольчик,
но распалил и не насытил взор.

Анютиных дикорастущих глазок
здесь вдосталь, и, в отсутствии Анют,
их дикие глаза на скалолазов
глядят, покуда с толку не собьют.

Маньяк бросает выросший для взгляда
цветок к ногам лиловой госпожи.
Ей все равно. Ей ничего не надо,
но выговорить лень, чтоб прочь пошли.

Лишь кисть для акварельных окроплений
и выдох жабр, нырнувших в аква-спорт,
нам разъясняют имя аквилегий,
и попросту выходит: водосбор.

В аквариум окраины садовой
растенье окунает плавники.
Завидев блеск серебряно-съедобный,
охотник чайкой прянул в цветники.

Он страшен стал! Он все влачит в лачугу
к владычице, к обидчице своей.
На Ладоги вечернюю кольчугу
он смотрит все угрюмей и сильней.

Его терзает сизое сверканье
той части спектра, где сидит фазан.
Вдруг покусится на перо фазанье
запреты презирающий азарт?

Нам повезло: его глаза воззрились
на цветовой потуги абсолюта —
на ирис, одинокий, как Озирис
в оазисе, где лютик робко-люта.

Не от сего он мира — и погибнет.
Ущербно-львиный по сравненью с ним,
в жилище, баснословном, как Египет,
сфинкс захолустья бредит и не спит.

И даже этот волокита рыцарь,
чьи притязанья отемнили дом, —
бледнеет раб и прихвостень царицын,
лиловой кровью замарав ладонь.

Вот — идеал. Что идол, что идея!
Он — грань, пред-хаос, крайность красоты,
устойчивость и грация изделия
на волосок от роковой черты.

Покинем ирис до его скончанья —
тем боле, что лиловости вампир,
владея ею и по ней скучая,
припас чернил давно до дна допил.

Страдание сознания больного —
сирень, сиречь: наитье и напасть.
И мглистая цветочная берлога —
душно-лилова, как медвежья пасть.

Над ней — дымок, словно она — Везувий
и думает: не скушно ль? не пора ль?
А я? Умно ль — Офелией безумной
цветы собирать и песню напевать?

Плутаю я в пространном фиолете.
Свод розовый стал меркнуть и синеть.
Пришел художник, заиграл на флейте.
Звана сирень — ослышалась свирель.

Уж примелькалась слуху их обнимка,
но дудочка преследует цветок.
Вот и сейчас — печально, безобидно
всплыл в сумерках их общий завиток.

Как населили этот вечер летний
оттенков неземные мотыльки!
Но для чего вошел художник с флейтой
в проем вот этой прерванной строки?

То ль звук меня расстроил неискомый,
то ль хрупкий неприкаянный артист
какой-то незапамятно-иконный
прозрачный свет держал между ресниц,—

но стало грустно мне, так стало грустно,
словно в груди всплакнула смерть птенца
Сравненью ужаснувшись, трясогузка
улепетнула с моего крыльца.

Что делаю? Чего ищу в сирени —
уж не пяти, конечно, лепестков?
Вся жизнь моя — чем старе, тем страннее.
Коль есть в ней смысл, пора бы знать: каков?

Я слышу — ошибаюсь неужели? —
я слышу в еженощной тишине
неотвратимой воли наущенье —
лишь послушанье остается мне.

Лишь в полночь весть любовного ответа
явилась изумленному уму:
отверстая заря была со-цветна
цветному измышленью моему.

* * *

Пора, прощай, моя скала,
и милый дом, и в нем каморка,
где все моя сирень спала,—
как сновиденно в ней, как мокро!

В опочивальне божества,
для козней цвета и уловок,
подрагивают существа
растений многожды лиловых.

В свой срок ступает на порог
акцент оттенков околичных:
то маргариток говорок,
то орхидеи архаичность.

Фиалки, водосбор, люпин,
качанье перьев, бархат мантий.
Но ирис боле всех любим:
он — средоточье черных магий.

Ему и близко равных нет.
Мучителен и хрупок облик,
как вывернутость тайных недр
в кунсткамерных прозрачных колбах.

Горы подножье и подвал —
словно провал ума больного.
Как бедный Врубель тосковал!
Как все безвыходно лилово!

Но зачарован мой чулан.
Всего, что вне, душа чуралась,
пока садовник учинял
сад: чудо-лунность и чуланность.

И главное: скалы визит
сквозь стену и окно глухое.
Вошла — и тяжело висит,
как гобелен из мха и хвои.

А в комнате, где правит стол,
есть печь — серебряная львица.
И соловьиный произвол
в округе белонощной длится.

О чем уста ночных молитв
так воздыхают и пекутся?
Сперва пульсирует мотив
как бы в предсердии искусства.

Все горячее перебой
артерии сакраментальной,
но бесполезен перевод,
и суесловен комментарий.

Сомкнулись волны, валуны,
канун разлуки подневольной,
ночь белая и часть луны
над Ладогою хладноводной.

Ночь, соловей, луна, цветы —
круг стародавних упований.
Преуспеянью новизны
моих не нужно воспеваний.

Она б не тронула меня!
Я — ей вреда не причиняла
во глубине ночного дня,
в челне чернильного чулана.

Не признавайся, соловей,
не растолковывай, мой дальний,
в чем смысл страдальческой твоей
нескладицы исповедальной.

Пусть всяко понимает всяк
слогов и пауз двуединость,
утайки маленькой пустяк —
заветной тайны нелюдимость.



* * *

Владимиру Высоцкому

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.

Нам, виды видавшим, ответствуй, как дева

преlestной.

Так — быть? Или — как? Что решил ты в своем

Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.
Дарующий радость, ты — щедрый даритель

страданья.

Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
кто подданных душу возвысит до слез, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь
не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
а стройным собором братьев, отринувших

пошлость.

Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.

Певца обожая, расплачемся. Доблестна тризна.
Ведь быть иль не быть — вот вопрос.

Как нам быть? Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим — все дальше, все выше и чище.
Не скарены мы, и сердца разбиваются наши.
Лишь так справедливо. Ведь если не наши —

то чьи же?

* * *

Мне Тифлис горбатый снится...

Осип Мангельштам

То снился он тебе, а ныне — ты ему.
И жизнь твоя теперь — Тифлиса сновиденье.
Поскольку город сей непостижим уму,
он нам при жизни дан в посмертные владенья.

К нам родина щедра, чтоб голос отдыхал,
когда поет о ней. Перед дорогой дальней
нам все же дан привал, когда войдем в духан,
где — чем душа светлей, тем пение печальней.

Клянусь тебе своей склоненной головой
и воздухом, что весь — душа Галактиона,
что город над Курой — все милосердней твой,
ты в нем не меньше есть, чем был во время оно.

Чем наш декабрь белей, когда роняет снег,
тем там платан красней, когда роняет листья.
Пусть краткому «теперь» был тесен белый свет,
пространному «потом» достаточно Тифлиса.

* * *

Хожу по околицам дюжей весны,
вкруг полой воды, и сопутствие чье-то
глаголаше: «Колицем должен еси?» —
сочти, как умеешь, я сбилась со счета.

Хотелось мне моря, Батума, дождя,
кофейни и фески Омара-соседа.
Бубнило уже: «Ты должна, ты должна!» —
и двинулась я не овамо, а семо.

Прибой возыметь за спиной, на восток,
вершины ожегший, воззриться — могла ведь.
Всевластье трубы помавает хвостом,
предместье-прихвостье корпит, помогает.

Закат — и скорбит и робеет душа
пред пурпуром смрадным, прекрасно-зловещим.
Над гранью земли — ты должна, ты должна! —
на злате небес — филигрань-человечек.

Его пожирает отверстый вулкан,
его не спасет тихомолка оврага,
идет он — и поздно его окликать —
вдоль пламени, в челюсти антропофага.

Сближаются алое и фиолет.
Как стебель в середине захлопнутой книги,
меж ними расплющен его силуэт —
лишь вмятина видима в стынущем нимбе.

Добыча побоища и дележа —
невзрачная крапина крови и воли.
Как скушно жужжит: «Ты должна, ты должна!»
тому ли скитальцу? Но нет его боле.

Я в местной луне поначалу своей
луны не узнала, да сжалилась лунность
и свойски зависла меж черных ветвей —
так ей приглянулась столь смелая глупость.

Меж тем я осталась одна, как она:
лишь нищие звери тянулись во други
да звук допекал: «Ты должна, ты должна!» —
ужель оборучью хапуги-округи?

Ее постояльцы забыли мотив,
родимая речь им далече латыни,
снуют, ненасытной мечтой охватив
кто — реки хмельные, кто — горы золотые.

Не ласки и взоры, а лязг и возня.
Пришла для подачи — осталась при плаче.
Их скаредный скрытень скрадет и меня.
Незнаемый молвил: «Тем паче, тем паче».

Текут добры молодцы вотчины вспять.
Трущобы трещат — и пусты деревеньки.
Пошто бы им загодя джинсы не дать?
По сей промтовар все идут в деликвенты.

Восход малолетства задирчив и быстр:
тетрадки да прятки, а больше — рогатки.
До зверских убийств от звериных убийств
по прямопутку шагают ребятки.

За-ради наживы решат на ножах:
не пусто ли брату остаться без брата?
Пребудут не живы — мне будет не жаль.
Истец улыбнулся: «Неправда, неправда».

Да ты их не видывал! Кто ты ни есть,
они в твою высь не взглянули ни разу.
И крестят детей, полагая, что крест —
условье улова и средство от сглазу.

До станции и до кладбища дошла,
чей вид и название содеяны сажей.
Опять донеслось: «Ты должна, ты должна!» —
я думала, что-нибудь новое скажет.

Забытость надгробья нежна и прочна.
О лакомка, сразу доставшийся раю!
«Вкушая, вкусих мало меду, — прочла,
уже не прочеть: — и се аз умираю».

Заведомый ангел, жилец не земной,
как прочие все, оснащенный скелетом.
«Ночной — на дневной, а шестой —
на седьмой!» —
вдруг рявкнул вблизи станционный селектор.

Я стала любить эти вскрики ничьи,
пророчества малых событий и ругань.
Утешно мне их соучастье в ночи,
когда сортируют иль так, озоруют.

Гигант репетир ударяет впотьмах,
железо наслав на другое железо:
вагону, под горку, препона — «башмак» —
и сыплется снег с потрясенного леса.

Твердящий темно: «Ты должна, ты должна!» —
учись направлять, чтобы слышащий понял,
и некий ночной, грохоча и дрожа,
вспомнил свой долг и веленье исполнил.

Незрячая оцупь ума неточна:
лелея во мгле коридора-ущелья,
не дали дитяти дьячка для тычка,
для лестовицей ременной наущенья.

Откройся: кто ты? Ослабел и уснул
злехмурый, как мурин, поселок немытый.
Суфлер в занебесном укрытье шепнул:
«Ты знаешь его, он — неправедный мытарь.

Призвал он коегожда из должников,
и мало взыскал, и хвалим был от бога».
Но, буде ты — тот, почему не таков
и не отпустишь от мзды и побора?

Окраина эта тошна и душна!
Брезгливо изрек сортировочный рупор:
«Зла суца — ступай, ибо ты не должна
ни нам, ни местам нашим гиблым и грубым.

Таков уж твой сорт». И подавленный всхлип
превысил слова про пути и про рейсы.
Потом я узнала: там сцепщик погиб.
Сам голову положил он на рельсы.

Не он ли вчера, напоследок дыша,
вдоль неба спешил из огня да в полымя?
И слабый пунктир — ты должна, ты должна! —
насквозь пролегал между нами двоими.

Хожу к тете Тасе, сижу и гляжу
на розан бумажный в зеленом вазоне.
Всю ночь потолок над глазами держу,
понять не умею и каюсь во злобе.

Иду в Афанасово крепким ледком,
по талой воде возвращаюсь оттуда.
И по пути, усмехнувшись тайком,
куплю мандариновый джем из Батума.

Покинувший — снова пришел: «Ты должна
заснуть, возмненья приидут иные».
Заснежило, и снизошла тишина,
и молвяю во сне: отпускаеши ныне...

ПРИГОРОД: НАЗВАНЬЯ УЛИЦ

Стихам о люксембургских розах
совсем не нужен Люксембург:
они порой цветут в отбросах
окраин, свалками обросших,
смущая сумрак и сумбур.

Шутил ботаник-переулок,
любитель роз и тишины:
две улицы и переулок
(он — к новостройке первопуток) —
растенью грез посвящены.

Мы, для унятия страданий
коровьих, не растим травы.
Народец мы дрянной и драный,
но любим свой родной дендрарий,
жаль — не сносить в нем головы.

Спасибо розе люксембургской
за чашу, полную усад:
к ней ходим за вином-закуской
(хоть и дают ее с нагрузкой),
цветем, как Люксембургский сад.

Не по прописке — для разбора,
чтоб в розных куцах не пропасть,
есть Роза-прима, Роза-втора,
а мелкий соименник вздора
зовется: Розкин непролаз.

Лишь розу чтит поселок-бука,
хоть идол сей не им взращен.
А вдруг скажу, что сивка-бурка
катал меня до Люксембурга? —
пускай пошлют за психврачом.

А было что-то в этом роде:
плющ стены замка обвивал,
шло готике небес предгрозье,
склоняясь к люксембургской розе,
ее садовник поливал.

Царица тридевятой флоры!
Зачем на скромный наш восток,
на хляби наши и заборы,
на злоначальные затворы
пал твой прозрачный лепесток?

Но должно вот чему дивиться,
прочла — и белый свет стал мил:
«ул. им. Давыдова Дениса».
— Поведай мне, душа-девица,
ул. им.— кого? ум — ил затмил.

— Вы что, неграмотная, что ли? —
спросила девица-краса. —
Пойдите подучитесь в школе. —
Открылись щелки, створки, шторы,
и выглянули все глаза.

— Я мало видывала видов —
развейте умственную тьму:
вдруг есть среди ваших индивидов
другой Денис, другой Давыдов? —
Красавица сказала: — Тьфу!

Предмагазинною горою
я шла, и грустно было мне.
Свет, радость, жизнь! Ночной порою
тебе, певцу, тебе, герою,
не грустно в этой стороне?

* * *

Вся тьма — в отсутствии, в опале,
да несподручно без огня.
Пишу, читаю — но лампы
нет у людей, нет у меня.

Электрик запил, для элегий
тем больше у меня причин,
но выпросить простых энергий
не удалось мне у лучин.

Верней, лучинушки-лучины
не добыла, в сарай вошед:
те, кто мотиву научили,
сокрыли, как светец возжечь.

Немногого недоставало,
чтоб стала жизнь моя красна,
веретено мое сновало,
свисала до полу коса.

А там, в рубахе кумачовой,
а там, у белого куста...
Ни-ни! Брусникою моченой
прилежно заняты уста.

И о свече — вотще мечтанье:
где нынче взять свечу в глуши?
Не то бы предавалась тайне
душа вблизи ее души.

Я б села с кротким рукодельем...
ах, нет, оно несносно мне.
Спросила б я: «О Дельвиг, Дельвиг,
бела ли ночь в твоём окне?»

Мне б керосинового света
зеленый конус, белый круг —
в канун столетия и лета,
где сад глубок и берег крут.

Меня б студента-златоуста
пленял мундир, пугал апломб.
«Так говори, как Заратустра!» —
он написал бы в мой альбом.

Но все это пустая греза.
Фонарик есть, да нет в нем сил.
Ночь и электрик правы розно:
в ночь у него родился сын.

Спасибо вечному обмену:
и ночи цвет не поврежден,
и посрамленному Амперу
соперник новый рожден.

После полуночи темнеет —
не вовсе, не дотла, едва.
Все спать улягутся, но мне ведь
привычной складывать слова.

Я авторучек в автолавке
больной букет приобрела:
темны их тайные таланты,
но масть пластмассы так бела.

Вот пальцы зоркие поймали
бег анемичного пера.
А дальше просто: лист бумаги
чуть ярче общего пятна.

Несупротивна ночи белой
неразличимая строка.
Но есть светильник неумелый —
сообщник моего окна.

Хранит меня во тьме короткой,
хранит во дне, хранит всегда
черемухи простонародной
высокородная звезда.

Вдруг кто-то сыщется и спросит:
зачем при ней всю ночь сижу?
Что я отвечу? Хрупкий ответ,
как я должна, так обвожу.

Прости, за то прости, читатель,
что я не смыслов поставщик,
а вымыслов приобретатель
черемуховых и своих.

Электрик, загулявший на ночь,
сурово смотрит на зарю
и говорит: «Все сочиняешь?»
«Все починяешь?» — говорю.

Всяк о своем печется свете,
и возгорается, смеясь,
залатанной электросети
с вот этими стихами связь.

СОДЕРЖАНИЕ

«Дорога на Паршино, дале — к Тарусе...»	5
«Отселева за тридевять земель...»	7
«Как много у маленькой музыки этой...»	9
Гусиный Паркер	11
Шум тишины	14
Луне от ревнивца	16
Пашка	18
Лебедин мой	20
29 день февраля	24
Ночь на 30 марта	26
Цветений очередность	28
Пачевский мой	30
«Люблю ночные промедленья...»	32
Влияния весны	34
Ночь на 30 апреля	36
Прогулка	37
«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...»	39
Таруса	40
Скончание черемухи — 1	41
Скончание черемухи — 2	43
«Зачем он ходит? Я люблю одна...»	45
Звук указующий	49
Посвящение	50
Стена	52
Ночь на 6 июня	55
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...»	57
«Был вход возбранен. Я не знала о том и вошла...»	59
Елка в больничном коридоре	61
«Какому ни предамся краю...»	64
«Бессмертьем душу обольщая...»	68
«Когда жалела я Бориса...»	71
«Дарю тебе сию тетрадь...»	74

Шестой день июня	75
Постой	78
«Темнеет в полночь и светает вскоре...»	80
«Всех обожаний бедствие огромно...»	82
«Мне дан июнь холодный и просторный...»	83
«Завидев дом, в испуге безъязыком...»	85
Дом с башней	87
Поступок розы	90
«Лапландских летних льдов недалняя граница...»	93
Ночное	95
«Взамен элегий — шуточки, сарказмы...»	97
«Чудовищный и призрачный курорт...»	100
Гряда камней	103
«Лишь июнь сортавальские воды согрел...»	110
«Сирень, сирень — не кончилась бы худом...»	113
«Я — лишь горы моей подножье...»	117
«Не то чтоб я забыла что-нибудь...»	119
«То ль потому, что ландыш пожелтел...»	120
«Здесь никогда пространство не игриво...»	122
«Так бел, что опалает веки...»	123
Черемуха белоночная	126
«Всё шхеры, фьорды, ущельных существ...»	129
«Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет...»	132
«Сверканье блесен, жалобы уключин...»	134
«Ночь: белый сонм колонн надводных...»	137
«Вошла в лиловом в логово и лоно...»	138
«Пора, прощай, моя скала...»	142
«Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...»	145
«То снился он тебе, а ныне — ты ему...»	147
«Хожу по околицам дюжей весны...»	148
Пригород: названья улиц	153
«Вся тьма — в отсутствии, в опале...»	156

55 коп.

